

Галина ТАЛАНОВА

г. Нижний Новгород

БЕГ



ПО КРАЮ

повесть  
журнальный вариант

27<sup>1</sup>

Фёдор как-то для неё совсем незаметно обосновался в их доме: звонил по телефону, прося таким вкрадчивым голосом к телефону Андрея, что Лидочке казалось, что кто-то на том конце провода всматривается в чёрную трубу телескопа, пытаясь разглядеть поближе звёзды, но видит в нём лишь своё кривое и блестящее отражение; протирал и без того весь в глубоких проплешинах диван.

Лидочка давно призналась себе, что она скучает без него — будто сумерки на жизнь опускаются, изымая из неё краски. Становишься больным, дальтоником, видящим только чёрных кошек, неторопливо переходящих тебе дорогу.

Фёдор приходил не к ней. Она была приложением к мужу, как бы его тенью. Она и старалась по возможности стать такой плоской расплывчатой тенью, прилипшей к стене или мебели, не подающей звонкого голоса, похожего на полнокровный весенний ручей, весе-

ло перебирающий клавиши городских водостоков. Иногда она даже уходила в их спальню и тихонько там сидела мышью в норке, представляя себя кошкой, выходящей на охоту. Потом не выдерживала — и шла в гостиную. Иногда её вытягивал из спальни Андрей. Чаще всего это происходило, когда муж хотел, чтобы она что-нибудь им сварганила съестное. У них были свои разговоры — и она оказывалась в них лишняя. Некий субтитр для слепых, которому позволено только повторять чужие речи. Сидела на краешке кресла, подпирая раскалённую щёку ладошкой, поставив руку на подлокотник. Её и не замечали будто. Или это ей лишь так казалось?

В один отпускной и щедрый на тепло июль муж пригласил Фёдора к ним на дачу. На рыбалку.

В то лето Фёдора стало неожиданно так много, что он будто стал членом их семьи. Сидели за огромным дачным столом, хрустели прожаренными до костей окуньками, что свекровь обваливала в манке и жарила на подсолнечном масле так,

<sup>1</sup> Окончание. Начало в № 1-2 2014 г.

что рыба была покрыта вкуснячей золотистой поджаркой и есть её можно было целиком со всеми её хребтами, плавниками и зарумянившимся хвостом. Внимала философским разговорам мужчин, думая о том, что лучшего себе, наверное, и желать нельзя, но сердце почему-то всё время тоскливо сжималось от мысли о том, что всё в её жизни пойдёт теперь по правильно-му, заранее известному, накатанному многими маршруту... Нет уже того зелёного луга, похожего на футбольное поле, где шутя можно гонять мяч судьбы из стороны в сторону, смеясь и выбивая от другого игрока, что пинает и катит его ровнёхонько по прямой... Вот ей нравится Фёдор, но и она мужняя жена, и у него семья, и они никогда не станут половинкой друг друга. Даже ночью, лёжа между Андреем и стеной, по которой гуляли чёрные тени всклооченных ветром деревьев, напоминая о том, что в нашей жизни нет ничего законченного и неподвижного, кроме конца, чувствовала всей своей обожжённой солнцем знойной кожей не шершавую холодную стену, несущую легкое облегчение от боли своим прикосновением, а того, другого, что прикасается к этой стене с другой стороны...

А днём Фёдор разгуливал с удочкой в руках по намывным волжским дюнам, где ноги проваливались по щиколотку в песок, издавая лёгкий скрип кварца, пристально смотрел на неё, улыбался и приговаривал: «Ловись рыбка большая и маленькая...» Вытаскивал из воды резким и ловким движением очередного хилого окунька, жадно хватающего жабрами, похожими на открытые раны, гибельный, сухой и горячий, словно поцелуй, воздух.

А она сидела на песке, смотрела на ленивые волны от пробегающих моторок и быстроходных судов, нежно пересыпала влажной от пота ладошкой сухой золотистый песочек, будто просеивала его сквозь пальцы, представляя, что это минуты в песочных часах — одна похожая на другую, но вместе они складываются в неповторимую картину жизни, но в сущности совершенно неизменную от того, что какие-то песчинки в них меняются местами или даже уходят под воду, утрамбовываясь под её тяжестью и втискиваясь между другими песчинками, такими же похожими одна на другую... Некоторые песчинки прилипали ненадолго к пальцам и ластились к золо-

тистому телу, надолго запутывались в выгоревших волосах, набивались под купальник, чтобы оказаться потом в зелёных дебрях сада.

## 28

Осенью Лидия поняла, что беременна. Фёдор почти не появлялся у них, но иногда звонил и подолгу разговаривал с Андреем. Иногда она сама перебрасывалась с ним парой ничего не значащих фраз, что просачивались, как перо сквозь пожелтевший от времени сатин подушки... Мягко и уютно, но что-то царапает щёку своим острым коготком. И потом на щеке обнаруживаешь длинную свежую царапину. Она совсем перестала о нём думать. Ему больше не было места под солнцем в её будущей жизни. Живот становился похожим на огромный надувной мяч, за который она держалась на воде, учась плавать. Сейчас она тоже крепко и осторожно держала надувающийся мяч, покачивающийся на волнах её неустойчивой походки вразвалочку. Она думала, что этот мяч теперь ей придётся осторожно подталкивать на воде, не отпуская его от себя в страхе, что он уплывёт, — и она, барахтаясь и разбрызгивая воду, будет хватать раскрывшимся для крика ртом воздух, прежде чем безвозвратно уйти с поверхности, отражающей полёт облаков.

В конце марта родилась Василиса. Лидочка всматривалась в этот красный орущий комочек, весь в «пятнах аиста» с пухом одуванчика на темечке, и не понимала, что она теперь мама. Вставала в полусне ночью, выдернутая из недолгого рыхлого забытья надсадным плачем, кормила дочь, как будто подобранного на улице котёнка из соски, чувствуя успокаивающее тепло родного тельца; качала, словно бескрайнее волнуемое море маленькую лодчонку, удивляясь тому, что это существо со сморщенной гримасой обиды и есть её ребёнок.

Осознание того, что она теперь мама, пришло тогда, когда начался мастит и пропало молоко. Она лежала в позе эмбриона на супружеской кровати, чувствуя, что вся горит и периодически проваливается в мутный и тёмный колодец душной летней ночи, которую неожиданно перерезали всполохи взрывающихся пе-

тард. Слезающиеся пятна огней двоились, троились, расплывались бензиновой плёнкой по поверхности её беспамятства. Грудь пылала, и от обжигающей боли, накрывающей её с головой, будто мутная волна штормящего моря, не было никакого спасу — откатившая на мгновение волна захлёстывала очередным брызжущим слюной взбесившейся собаки гребнем. Её мотало, как поплавок, и никто свыше не пытался выдернуть удилище ловким взмахом.

Возвращаясь на мгновение из небытия, она внезапно подумала, как же её дочь останется голодной, ведь она ещё ничего другого не может принимать, кроме её молока, что она пару дней назад легко сжегивала в простерилизованную баночку весёлой струйкой, которая теперь пересохла от пышущего жара.

Этот проснувшийся страх за своё чадо больше из её жизни не уходил, прочно поселившись в груди, сжимал сердце в постоянном предчувствии, что всё счастье в жизни конечно и может оборваться в любой момент.

Спустя два с половиной года, заплетая Васины жиденькие обсеянные волосёнки в тугие косички и вплетая в них голубые банты, похожие на пропеллер вертолёта, Лида думала о том, что её жизнь вот так же, как эти косицы, туго свита и скручена, чтобы не стать перепутанной ветром. Она жила с ребёнком на даче, но и здесь весь её день был подчинён строгому распорядку, нарушить который она была давно не вправе. Дочь приподнималась на носочки, пританцовывала на одной ноге, пытаясь заглянуть в серебристую гладь зеркала, отражающую её широко распахнутые не по-детски серьёзные небесно-серые глаза, в которых качалось и дрожало по одному солнечному зайчику.

У них снова гостил Фёдор. Дочь тебила его за линялую джинсу, задрал голову:

- Дядя Фёдор! А я красивая?
- Красивая! Очень-очень!
- Как мама?
- Как мама!
- А если мне волосы сделать, как у мамы, чтобы они на плечи дождём стекали, я буду красивее её? Дядя Фёдор! Расплети мне волосы. Ты умеешь волосы распускать? Расплети, расплети, расплети! И чтобы бант рыжий был, как костёр горит! А то папа не умеет.

Последнее лето декретного отпуска она провела не у мамы в деревне, а у родителей Андрея. Так захотел муж. Он уютней себя здесь чувствовал. Лето было на редкость сырым и прохладным. Шли не летние грозы — нудные осенние дожди, вколачивающие тебя своим бесконечным стуком по крыше в тоску и слёзы. Детское бельё по четыре дня проветривалось на веранде, но, так и не высохшее, переносилось к растопленной печке. Растопить печку — задача была тоже не из лёгких. Дрова отсырели; хворост, который обычно добавляли до растопки, только дымил, как гриб трутовик, выделяя едкий жёлтый дым, от которого на глаза набегали слёзы, а горло заходило в старческом спазматическом кашле. Для растопки использовали газеты, но они тоже только быстро тлели, чернея на глазах без огня и исчезая, как прошлогодний копотный снег. Когда же огонь наконец начинал робко перебирать клавиши хвороста, из непромазаных щелей печки начинал выползать кольцами змей дым. И только когда аккорды огня становились всё увереннее, дым исчезал, оставляя в комнате горьковатый туман, что скорее пытались выгнать на улицу, но тот нашкодлившей кошкой прятался по углам, забивался под кровать или тёрся о ножку дивана.

Фёдор охотно взялся помогать растапливать им печку. Даже сам колот во дворе дрова, складывая их под навесом у душа. Подолгу сидел на корточках перед распахнутой настезь дверцей, смотрел на зачинающийся огонь, поправляя кочергой свернувшуюся, будто листья от поселившихся на них гусениц, бумагу, помогая робкому пламени перекинуться на подсыхающий хворост. И потом, когда пламя уже весело начнёт облизывать сучья своими горячими шершавыми языками, он будет подолгу смотреть в топку немигающим взглядом с чёрными расширенными зрачками, поглотившими собой всю радужку и отражающими, точно ночная вода, костёр. Он почувствует, как тепло, словно от горячего чая с мёдом, хлынуло к лицу и растекается по сосудам, и примется думать о том, что судьба может пронести его мимо чего-то очень важного в жизни, становящегося таким дорогим и родным, что уже боишься потерять.

Монотонный осенний дождь стучал по кры-

ше, как машинописная машинка. Ей звонко подпевали многочисленные тазы и миски, хаотично расставленные по веранде. Кусты, заглядывающие в окна, опустили свои ветки, вывернули серебристую изнанку листьев и рябили от ветра, будто волны на море. Река почти скрылась за горизонтом. Вместо неё стояло облако водяной пыли.

У свекрови от застоявшейся сырости поднялась температура и начался сильный бронхит. Андрей повёз её в город. А Лида тайно радовалась, что её хоть несколько дней не будут рассматривать через лупу, совершенно забывая о том, что увеличительное стекло притягивает солнечных зайчиков, поджигающих сушняк.

Как случилось то, что случилось? Или это осенний дождь виноват, капли которого рвались в дом, будто ночные бабочки на огонь, — вгоняющий в тоску и дающий остро почувствовать конечность и бессмысленность существования, несмотря на то, что вся жизнь была ещё впереди и лежала, как сокровище на ладони, играя всеми своими гранями при свете розового ночника, а ребёнок, захлёбываясь родниковыми слезами, канючил сказку с хорошим концом.

Сказка была прочитана, но до конца было ещё далеко... Веки тяжелели, длинноногие слова запинаясь хромыми ногами, голова склонялась на грудь — и потолок качался, будто в каюте. Отсыревший воздух заползал под шерстяной свитерок, совершенно наплевав на скрещенные руки, от холода обнимающие друг дружку, — руки, похожие на прибитые к рамам доски, защищающие от входа неожиданных посетителей в опустевший надолго дом.

Бабочки, прятаясь при дневном свете по тёмным углам, внезапно проснулись, примагниченные ярким огнём. Обожгли свои шёлковые крылья — и метались по комнате, будто слепые, натыкались на стены в выгоревших жёлтых обоях с белыми ромашками с аккуратно подклеенными лепестками взамен съеденных мышками в холодную и безлюдную зиму. Отражались от стен — и снова летели к оранжевому абажуру, ровно горящему, будто пламя в семейном очаге. Мохнатые их тени скользили по стене, завораживая вечной игрой света и тени.

Пламя абажура покачивалось в толстых стёклах очков, за которыми темнел чёрный

омут расширенных зрачков, нырнуть в который было совсем не страшно. Чёрные локоны стекали кольцами телефонных проводов по тонкому женскому запястью с пальцев, запутавшихся в чужих и жёстких волосах.

Ах, эти локоны... Их щетиновую жёсткость рука Лидии Андреевны почему-то помнит до сих пор. Она любила позднее накручивать их на свой указательный палец, дивясь тому, что вот так же странно закручена наша жизнь. Она была по-своему привязана к мужу, и, в сущности, ей было бы страшно потерять его и стабильность, что возникла в её жизни после замужества. Почти во всём она была примерной женой, часто уступала свекрови и старалась беречь хрупкое равновесие в доме. Тогда зачем ворвался в её жизнь Фёдор — и она даже не испытывает никакого страха, ходя по тоненькой жёрдочке над горной речкой. Вдруг оступится и покачнётся, вытанцовывая на цыпочках по натянутой струне? Или внезапно съедет с горы какой-нибудь неуклюжий камень, сдвигая опору у качающихся мосточков? Почему недавно такой демонически загадочный и интересный Фёдор становится незаметно для неё родным человеком, которому хочется рассказать и весь прошедший день, и все свои нечёткие, будто в детском акварельном рисунке, мысли, сомнения и предчувствия?

Всё случилось так, как будто и не могло быть иначе. Дождь посшибал все уже ватные яблоки на землю... Просто не могли две половинки разломанного от удара яблока не подкатиться друг к другу... Только ведь истекающий соком срез уже погрызен и чёрными муравьями сомнений, и мягкотелой улиткой долга... Пустое. Половинкам полностью не совпасть.

Но, оказывается, и это возможно с тобой: тебе нужны и тот, и другой. Любовь к одному не мешает привязанности к другому...

Ей казалось, что она слышит, как волны разбиваются о берег, большие, медленные, равнодушные, равномерно накатывающие одна за другой, увеличиваясь в размерах, валы, накатывающиеся с ритмом судьбы так монотонно, что это создавало иллюзию вечности. Этот бесконечный шорох медленно и неотвратимо приближающихся и подхватывающих тебя волн судьбы стал составляющей её жизни, без



которой она уже и существовать не могла. Тишина пугала.

Печаль, захлестнувшая её с головой, когда она, замершая, лежала, устремив взгляд в бесконечность, в которой запутались сполохи лунного света, перерезаемого фарами проносящихся за окном машин, напомнившие ей огни проплывающих теплоходов, и думая о произошедшем, прошла, и осталась неловкость, будто огрызок яблока, выкинутый волной на отшлифованный песок. Ей хотелось взглянуть на него, но она лежала неподвижно, не осмеливаясь пошевелиться и тем более включить бра. Потом она всё же чуть-чуть приподнялась на локте и вполборота повернула голову к нему, чувствуя, как заломило мышцы шеи, вчитываясь в его лицо, точно в непонятый текст. Он был где-то далеко, в другом мире. Ей захотелось заплакать от обиды. Он казался теперь ей холодной обкатанной галькой, лежащей глубоко на дне под прозрачной толщей воды. Вдруг, будто вода в проломленный борт лодки, напорившейся на корягу, хлынула ненависть к нему, оставившему её одну у этого равнодушного плеска моря. Внезапно она услышала ход часов, стучавших так явственно, словно подложенное взрывное устройство. А он спал — и она подумала, что теперь он где-то парит среди мыльных пузырей снов, переливающихся своими хамелеоновыми оболочками и уносимых друг от друга ветром, будто во времени и пространстве бывшие друзья-одноклассники. Теперь перед ней, как в замедленной киносъёмке, поплыли картины из её жизни, путаясь с мыслями о нереализованных возможностях и разбившихся, точно волна о камень, надеждах. Она будто вытягивала сети из глубины моря её прошлого: друзей, родителей, первую влюблённость и первый зубик её ребёнка, тянула, тянула — и всё не могла вытащить, снимая руками налипшую тину сомнений, которой становилось всё больше и больше, чем ниже со дна она извлекала сеть.

## 29

**З**а завтраком словно катали по горлу молчание, ватным комком перекрывающее ровное дыхание. Василиса размазывала по тарелке манную кашу, складывала её за щёку, отчего

щёка надувалась, будто у ребёнка был флюс. На веранде стоял комариный гул, сплетённый из множества тоненьких голосов. Лидия Андреевна только и успевала их отгонять от ребёнка. За окном снова начался мелкий дождь. Он стучал по веткам сирени, листья которой вздрагивали от этих холодных капель и пытались их стряхнуть на землю... Каждый лист жил какой-то своей внутренней, отдельной от целого куста жизнью. Пока другие смиренно стояли в неподвижности, принимая дробинки дождя, какой-нибудь из них вдруг выворачивался, будто ковш ладони, выливая воду на прикипшую к земле траву.

Случившееся казалось нереальностью, сном, привидевшимся в коротеньком забытии. Было холодно, сыро, и хотелось снова закутаться с головой в ватное одеяло.

Потом чужой мужчина, неожиданно становящийся своим, принёс с улицы из-под навеса отсыревшие дрова и снова стал разжигать в доме очаг, сминая для растопки старые газеты. Буквы и чужие лица неожиданно оживали, корчились в последних гримасах и исчезали, становясь ворохом чёрного пепла. И снова огонь весело бежал по хворосту, облизывая подсыхающие поленья и становясь всё яростнее. И опять они с Васей смотрели как замороженные на это дышащее пламя, греющее руки своими высунутыми из пасти печурки языками. И снова комната наполнялась теплом, что уже приливалось к лицу. И снова щёки горели, будто у школьницы, прогулявшей урок, а сердце билось, как перед неизбежным экзаменом, где никогда не знаешь, что за билет суждено тебе будет вытащить.

В выходные, когда приехал Андрей, поймала себя на мысли, что всё время старается не глядеть на Фёдора. Смотрела в стенку, в пространство, в никуда, старательно отводя близорукие глаза. Когда обедали, Фёдор поймал ногами её лодыжку и спокойно разглагольствовал об услышанных во «Времени» новостях. Она сидела между двумя мужчинами, подпирала ладошкой с истончившимися и расслаивающимися ногтями щёку, пылающую от горячего чая, передозировки солнца и ветра, и почти не слушала, что говорят мужчины. Дискуссия была где-то далеко, будто разговор по междугородной связи, когда испорчен кабель. Только там напряга-

ются, чтобы услышать, а тут она наоборот, точно выпала из орбиты, сошла с круга разговора, так как из камеры колеса потихоньку ушёл воздух. Стоишь себе на обочине, смотришь, как другие гонят по кругу, вдыхаешь настоящий на хвое воздух и думаешь: «Всё-таки жизнь удивительна! Так куда же бежим тогда, перегоняя друг друга и ослепляя солнечными зайчиками от серебристых покрывшек?»

Передавая Фёдору сахарницу, вдруг почувствовала вместо холодной хрупкости фарфора его горячую ладонь, будто невзначай коснувшую её пальцев. Отдёрнула руку, как от ожога, бережно и тайно лелея тепло мужского колена в ночи, закутавшееся в клеёнчатую скатерть, низко свисающую со стола почти до самого облупившегося пола.

Ложечка позвякивала о стакан, будто колёса поезда по рельсам, увозя в неизвестность, в края, в которых ещё не бывала.

Вечером неожиданно подул душный ветер, и после ужина, уложив ребёнка спать, они пошли купаться.

Было полнолуние, и луна надраенным серебряным щитом висела над лугами, испуская завораживающее сияние. Она почувствовала себя маленькой девочкой, сидящей в первом ряду на новогоднем представлении в ожидании чуда и сказки с непременно хорошим концом.

Осторожно разделась, ёжась от влажного ночного воздуха, и по лунной дорожке, раскатанной серебряным ковром, ступила в воду, чувствуя, что грусть, будто вода, подступает всё выше и выше, нежно обнимая и обволакивая её со всех сторон... Неожиданно она вспомнила, что такое ночное купание уже было в её жизни когда-то в её студенческой молодости... И вот её снова закинуло в ту же точку пространства спустя море лет, как ей тогда казалось, и она не понимала ещё, что никакая это не прорва лет, а пока только горсть воды, набранной в ковши ладони, медленно утекающей сквозь не плотно сжатые пальцы...

По поверхности озера, будто оторванная голова подсолнуха, плыла луна... Фёдор стоял на берегу и смотрел, как она качается на воде. Вдруг он неожиданно нагнулся, поднял с земли камушек и запустил в подсолнух. Светящееся отражение задрожало и разлетелось на де-

сятки мелких осколков, закачавшись на воде оборванными лепестками, что постепенно, словно магнитом, начали медленно стягиваться друг к другу. И вот снова растерзанный было подсолнух, целый и невредимый, застыл в воде, облитый завораживающим светом. И опять тишину расколото взрывом воды — сполохи света брызнули Лиде в лицо и, разбросанные ударной волной, заколыхались на воде, будто кувшинки, вокруг чёрной воронки, наполненной тенями дурных предчувствий. Белые осколки мотались обрывками разорванного письма, подталкивая друг друга, кружились в немом танце и не могли найти себе прибежища и собраться в гладкие строки, возвращающие в сердце гармонию и покой. Теперь Фёдор как заведённый зачем-то бросал и бросал камни один за другим, не давая осколкам света собраться в целое, — и они, потянувшись было друг к другу, тотчас отшатывались и разлетались перьями из вспоротой подушки. Было в этом что-то магическое, словно Фёдор хотел разбить гармоничный мир, застывший блестящей ёлочной игрушкой из фольги на глади её семейной жизни.

### 30

С того августа понеслось, будто кубарем с горы, какое-то бесшабашное время. Осенью Василиса пошла в детский сад, а Лидочка на работу. Встречались почти всегда в обед. Иногда просто прогуливались по шумным улицам, разговаривая обо всём, или сидели в полутьме кафе, вглядываясь в первые морщины на стекле от брошенного камушка. Лидочке было странно самой, что с Фёдором она почему-то обсуждала даже какие-то житейские и бытовые проблемы, которые постоянно возникали у них с Андреем. Скажем, как лучше ободрать с окон старую краску, похожую на обгоревшую, облупляющуюся кожу, перед их покраской или какие лучше занавески купить к обоям в их комнате. Но, когда она в очередную их прогулку начинала его спрашивать о том, как же лучше переставить мебель в их комнате, для того чтобы купить и поставить кровать под-

растающей Василисе вместо её детской, напоминающей звериную клетку, всё было так органично и естественно, будто иначе и быть не могло, только вот так: во всём советоваться с близким другом, видящим их дом со стороны и знающим его как свои пять пальцев.

Иногда сбегали с откоса вниз к реке, подальше от чужих глаз. Смотрела в запрокинутое небо и думала, что всё-таки жизнь удивительна! По небу плыли облака, меняющие ежеминутно свои очертания, — ветер гнал их, словно тополиный пух по асфальту. Бескрайность неба была перечёркнута тающим следом от реактивного самолёта, будто бы асфальт разлинован школьным мелом, что быстро стирался с тротуара шагами спешащих прохожих. След от лайнера на глазах становился всё шире, точно река на географической карте, и всё прозрачнее...

Они бродили с Фёдором среди битого стекла, то тут, то там изумрудно подмигивающего, словно кот из темноты, и среди окурков, которые почему-то напоминали Лидии свёрнутые лотерейные билетки в воскресном парке её детства... Взавшись, как дети, за руки, уходили всё дальше по набережной, чтобы перемахнуть через бетонный парапет там, где начинается серый, цвета нездоровой кожи, песок. Корявые ивовые кусты одиноко торчали на грязно-зелёных островках запылившейся травы, почти подметая побуревшими листьями песок, будто своими козлиными бородками задумчиво щипавшие траву животные. Фёдор властно тянул её за руку к маячившему впереди островку зелени. Ноги в туфлях на каблучках неуклюже подвёртывались и проваливались в почву, осыпаящуюся под ногами. Туфли снять она почему-то не решалась, боясь испачкать ноги или вообще поранить ступню о битое стекло или ракушки, выброшенные на берег волной от проходящих мимо судов. Она буквально ковляла позади Фёдора, тащилась, словно заглохший автомобиль на тросе, вихляющий из стороны в сторону от всех встретившихся на дороге ухабов и рытвин. Было в этом их движении что-то символическое, напоминающее тридцативосьмилетний путь израильтян через пустыню в Ханаан во время их исхода из Египта. Вот и она тоже ждёт от Бога манны небесной и думает, что всё равно всё предрешено свыше. Сопротивляться

налетевшей стихии бесполезно, всё равно она подхватит своим широким крылом смерча — оторвёт от земли и унесёт, если на то будет воля и желание неземных сил...

Потом Фёдор отводил её сбившиеся волосы с запутавшимися в них песчинками, будто мальками в тине, за ухо, и она чувствовала себя маленькой девочкой, защищённой от темноты за окном, в которой бродит Баба Яга с корявой метлой. Глубоко вглядывался в её потемневшие глаза, пытаясь разглядеть на дне колодца её ускользнувшую от всех и от себя самой душу; крепко прижимал к своей груди — и она слышала обострённым слухом, как неровно, будто перегревшийся двигатель, колотится её сердце...

## 31

Внезапно пришла зима. Пришла сразу и бесповоротно. Ещё вчера она думала, что бабье лето на редкость щедро и август затянулся, так не бывает, — и вот всё в одну ночь оборвалось, будто струна у гитары лопнула. И сразу лёг на землю снег по колено, и снежный покров всё рос и рос, точно тесто на дрожжах, прибывал. Город стал белым, будто хирургическая операционная... С работы пришлось идти пешком, так как город к зиме был не готов и его мгновенно парализовало. Она шла по узенькой, уже протоптанной пешеходами среди вырастающих сугробов тропинке... Оступалась через каждый шаг в рыхлый снег, ноги тут же проваливались так глубоко, что снег заглядывал в сапоги и трогал ноги своей колючей седой щетиной, и думала почему-то о том, что это её путешествие по первому снегу напоминает ей прогулки по намывному зыбучему песку: и утонуть не утонешь, и не выбраться. Выкарабкаться из него можно только медленно и плавно, не делая резких движений. Лечь на спину, широко раскинув руки, и потихоньку выплывать, будто из сна в выходной, когда спешить некуда. Вся её жизнь — наверно, тоже такой зыбучий песок. Снег рано или поздно, но всё равно растает, унося с весело журчащей водой всё оседавшее тяжёлой муťou день за днём на новой поверхности, когда старое зарывалось всё глубже. А песок, он держит креп-

ко, и надежды, что лучи мартовского солнца всё переменят, нет никакой.

Встречались теперь иногда у Фёдора на работе, но она очень боялась, что её там кто-нибудь увидит. В его берлоге всё имело своё место и стулья стояли, будто на пионерской линейке, но на всём лежал приличный слой пыли, делающий все лаковые поверхности матовыми настолько, что искать в них своё отражение становилось бессмысленным. Лида как-то написала пальцем на крышке секретера: «Жизнь обрастает слоем пыли...» Её надпись сохранилась до её следующего прихода, но в следующий её визит фразы уже не было: слова исчезли под накопившейся пылью, а в её новое посещение места под солнцем Фёдора секретер ослеплял уже до слёз своей лаковой поверхностью, в которой отражались ровные ряды люминесцентных ламп...

Странно было то, что её несколько не мучила совесть из-за того, что в её жизни был Фёдор. Она была примерной женой и не собиралась что-либо менять в своей накрахмаленной семейной жизни, которой пыталась придать устойчивость и всегдашнюю свежесть. Фёдор не был какой-то другой её жизнью, отделённой от семейной высоким забором и никак с ней не пересекающейся. Нет, он спокойно открывал калитку, закрытую на щеколду с внутренней стороны сада. Просто просовывал свою руку сквозь раздвинутые доски забора, нащупывал щеколду — и открывал. Проходил по дорожке сада как желанный гость, давно ставший своим. Приходил с кошёлкой гостинцев, дельных советов и интригующих рассказов. Иногда она думала: не догадывается ли Андрей, что его друг, давно ставший другом дома, уже скорее её друг и даже больше, чем друг, и что будет, если муж узнает обо всём? Но тут же отмахивалась от этой мысли, как от мухи, назойливо вьющейся поутру над залитой солнцем подушкой и пытающейся, жужжа, примоститься тебе на висок. Залезала с головой под одеяло, чтобы не слушать настойчивого жужжания, и продолжала смотреть цветные сны, где они с Фёдором летают под облаками, взявшись, как дети, за руки.

Она была счастлива в ту зиму не только тем, что желанна и любима, но и тем, что у неё есть надёжный семейный очаг, который пусть и не го-

рел обжигающим пламенем, но тлел ровно, постоянно мерца в темноте раскалёнными углями и храня накопленное за прожитые годы тепло.

Ноги больше не утопали в глубоких сугробах. Она летала над ними, лишь чуть прикасаясь каблучками к ослепляющей белизне. Просто отталкивалась от накатанного льда или наметённых сугробов и летела навстречу своим любимым, становясь лёгкой, как ажурная снежинка.

Перед самым Новым годом она пришла домой с работы — и услышала из кухни голос Фёдора. С замирающим сердцем, взбив волосы, поправив поплывшую за день косметику, влетела, пританцовывая, на кухню. Фёдор уплетал пожаренные мужем пельмени:

— А я вот тут новостью делюсь. Мне предлагают место доцента почти в Москве, в Подмосковье, конечно, с возможностью докторантуры. Хочу рискнуть попробовать себя на этом поприще. Там нам и квартиру обещают дать.

У Лиды будто струна какая-то оборвалась, что звучала несколько месяцев внутри неё. Звучала сама по себе, её даже не надо было трогать пальцем, — точно эхо отражалось от многочисленных препятствий, образуя странный оркестр, рождающий свою новую неповторимую мелодию. И вот струна лопнула. На негнущихся ногах Лидия вышла из кухни и долго пускала в раковину воду в ванной комнате, пытаясь затолкать внутрь слёзы, хлынувшие, будто в фанерную лодку, напоровшуюся на металлические останки.

После Нового года она стала ждать от Фёдора писем. Он никогда не посылал писем ей куда-нибудь «до востребования», всегда писал им вместе: «Дорогие мои... Обнимаю, целую...», но в строчке «Кому» неизменно стоял Андрей. Один раз, когда муж был в командировке, она не выдержала и вскрыла конверт. Не взрезала письмо по краю, не отпарила нежный шов над плюющимся чайником, а, дрожа от нетерпения, поддела приклеенный краешек скальпелем — и отодрала с «мясом» от конверта. Письмо было как письмо. Фёдор писал о своих новостях, делился впечатлениями о городе, о работе в вузе, о коллегах и студентах. Лиде нравилось читать его письма.



Они были написаны очень художественно, так, что перед глазами сразу вырастал сказочный театр из красочных декораций и теней, которые отбрасывали и обозначившиеся сразу вещи, и немые люди, которым ещё предстоит только выйти на сцену. Она так и слышала его язвительный баритон, долетающий через расстояние.

Аккуратно заклеить конверт не получилось. Разодранный слой старого клея почти весь был покрыт ворсом отодранной бумаги и заново не клеился; мазать конверт канцелярским клеем Лидия побоялась, хорошо зная, что тот может пожелтеть; аккуратно промазала часть, закрывающую конверт, ПВА, накапав его предварительно на полоску бумаги, и прижала, разглаживая конверт пальцем. Шов получился волнистый, выдававший Лиду с головой. Она даже хотела тогда просто потерять письмо, ничего не говорить о нём, но не решилась, подумав, что неполученное послание может как-то всплыть, и уж пусть будет лучше с покорёженным швом, но будет. Однако муж ничего не сказал: то ли не заметил, то ли ему было удобнее не замечать.

Она старалась как могла ничем не выдать их любовь. Да, это была любовь, не страсть, не стихия, как река, вырвавшаяся из-за запруды и сметающая всё на своём пути, — это была река глубокая и полноводная, но она текла в своих берегах, а вот подводные ключи бурлили, бурили воронку мутного омута. Фёдор же иногда будто забывал, что он — женатый человек и находится в гостях у своего друга. Пугал этим Лиду до внутреннего озноба: такого, как был тогда, когда она однажды наелась шампиньонов и точно покрылась изнутри гусиной кожей, а снаружи вся горела. Вырастал из-под земли, подкравшись беззвучно пантерой, делал резкий прыжок — и она оказывалась у него в объятиях. Стоял спиной по ходу движения в лодке, что мчалась по течению навстречу подводным камням, чуть лишь высовывающим из воды свои шапки. Стоял во весь рост, хотя и не раскачивая лодку, но и не гребя и не правя — куда вынесет, так был уверен, что мимо камней пронесёт...

Она потом думала, догадывался ли Андрей, что они встречаются без него? Вряд ли... Или то было инстинктивное нежелание знать, когда от удара закрывают голову ладонями?

Теперь Лида стала стараться попасть в командировку в столицу, куда Фёдор мог запросто добраться из своего Подмосковья. Она звонила с вокзала из автомата, предварительно наменяв целый большой мешочек 15-20-копеечных монет для междугородного разговора, сообщала, что прибыла, и только потом ехала устраиваться в гостиницу, вернее в общежитие, где комендант по договорённости с замом по хозяйству пускал сотрудников её предприятия на побывку. Общага эта была для строителей. Сюда приезжали учиться на курсы повышения квалификации бухгалтеры со стройки и всякие мелкие начальники из трестов, чтобы урегулировать вопросы с поставками материалов, проектами, заказами. Гостиница была вся заплёванная, похоже, в ней и не убирался никто. Жёлтое солдатское бельё, пол весь в крошках еды и в раздавленных мякишах хлеба, намертво прилепившихся к полу, словно родинки и бородавки на старческой коже. Ванная вся в рыжих потёках, напоминающая по цвету сходящий по весне снег, впитавший в себя гарь выхлопных газов, снизу подкрашенный оттаявшей глиной. Кран нудно капал, издавая звук, напоминающий стук первых редких капель дождя по железной крыше, долбящий, наводящий тоску в первые холодные августовские ночи. По кухне ползали рыжие тараканы в таком количестве, что казалось, это сквозняк, гуляющий по кухне, шевелил просыпанные крошки. Из переполненного помойного ведра всегда торчали бутылки и распространялся ударявший в нос запах, от которого у Лиды частенько начинался рвотный спазм, его она с трудом сдерживала, стремглав выбегая из кухни.

Остаться вдвоём в общаге можно было только утром или днём. Вечером бухгалтеры пили и орали песни, оккупировав проходную комнату и кухню. Фёдор по возможности брал какой-нибудь библиотечный день — и они гуляли по шумным московским улицам, иногда ходили в театр, а так чаще старались остаться в гостинице.

Перед отъездом Фёдор помогал ей закупить колбасы, мяса, конфет и апельсинов, чтобы взять домой. Она была рада, когда Фёдору удалось проводить её на вокзал и посадить в поезд. Муж даже как-то пару раз сам просил Фёдора помочь ей, если тот будет в столице.

Теперь она ждала этих своих командировочных поездок, этого бегства в чужую жизнь, когда можно будет безнаказанно раствориться в шумной толпе спешащих тебе навстречу людей, бродить по промозглым вечерним улицам, щедро освещённым разноцветными огнями рекламы, ничуть не заботясь о том, что будешь узанной. Она наблюдала, как быстро меняется содержание бегущей строки на высотном здании, буквы летят, как по бикфордову шнуру, вспыхивая новогодними фонариками одна за другой и постепенно складываясь в осмысленность. Она подумала, что вот так же и наши чувства слагаются по букве, зажигающейся одна за другой, и незаметно приобретают осознанность. Но как только слово сложится целиком — немедленно исчезает бесследно, оставив после себя лёгкое свечение где-то там, где высотное здание силится слиться с небом, растворяясь в его чернильной духоте. И вот уже новые буквы совсем другого цвета снова рождаются одна за другой, чтобы на мгновение сложиться в целое и бесследно растаять, уступая место новому... Не знала, не видела, вдруг однажды заметила, как августовскую комету, выпавшую из равнодушного мерцания бисера звёзд в холодный вечер, когда замечаешь, что теперь темнеет рано, — и вот осколок звезды уже стремительно приближается к твоему крыльцу, на котором ты сидишь, кутаясь в старую шаль, чтобы упасть тебе прямо в руки, а затем сгореть, оставив волдыри и рубцы на нежной коже.

Она нисколько не испытывала угрызений совести, будто бы всё в её жизни было правильно; всё как нужно: та жизнь и эта жизнь... Она идёт под руку с родным мужчиной в чужом городе. Гуляют, как влюблённая друг в дружку семейная пара... Лидочка шествует уверенной походкой любимой женщины, у которой всё лучшее ещё впереди. Это она стоит у входа в метро, до головных спазмов глядясь в чёрную толпу, вытекающую из под-

земелья, в надежде увидеть любимое лицо. Это она, лёгкая и прекрасная, бежит навстречу знакомой долговязой фигуре, раскинувшей в полёте руки для того, чтобы крепко к себе прижать её соскучившееся тело, поднимая на свою высоту, где летает синяя птица счастья. Это у неё сладко замирает сердце от того, что тяжёлая мужская ладонь легонько погладила её по волосам, а горячие губы целуют палец за пальцем на её руке, выбирая из них самый любимый, с заусенцами, чтобы нежно облизать шершавым языком где-то в глубине рта, мягко обхватив тёплыми губами, имеющими вкус недоспевших нектарин.

Пожалуй, ей было страшно потерять и того, и другого.

Ей совсем не нужна была эта любовь в засиженной тараканами общаге, но ей не хватало ощущения, что твою птичью трель не только слушают, возвращаясь из сна, но и понимают всё пропетое, как своё собственное сочинение.

При всём при том, что у неё был благополучный дом и будущее, она продолжала жить в доме свекрови, как в гостинице, с чувством, что находится под постоянным ионизирующим излучением, пытающимся просветить её насквозь и выявить притаившуюся опухоль. Вот смотрите: какой у неё скелет, и совсем не в шкафу, а тут в комнате, залитой солнечным светом, нанизывающим пылинки на свой расширяющийся луч.

Кем она была для Фёдора? Праздничным фейерверком, на минуту освещающим серые лица, замученные рутиной быта, разноцветными огнями, сменяющимися друг друга и окрашивающими тени на лице отблеском ёлочных гирлянд из фонариков, мигающих с частотой биения сердца? Она никогда не забудет тот испуг на лице Фёдора, когда подошла к нему сзади, увидев склонившийся над книгой любимый затылок в Центральной библиотеке, где они договорились встретиться, и положила руки на сгорбленные плечи. Он тогда дёрнулся, как от электрического удара, воровато озираясь в сторону, совсем противоположную от неё, и сказал, что он скоро выйдет из читального зала и пусть она подождёт его внизу. Как оказалось тогда, в том зале сидел его коллега с кафедры и Фёдор не хотел «светиться». Это

было нормально и разумно, но почему-то сердце в горькой обиде, дрожащее, как вымокшая кошка, забилося в тёмный угол, уткнувшись носом в пыльную холодную штукатурку, и там сдерживало свои всхлипы, натужно качая пересыщенную адреналином кровь.

Пять лет тянулась эта её жизнь с бегством в столицу и приездом Фёдора в гости. В очередное лето, катившееся по земле удушливым дымным клубком торфяных пожаров, Фёдор к ним на дачу не приехал. Их общий знакомый из той компании, где они когда-то познакомились под плач гитарных струн, сказал, что он развёлся и женится на дочке какого-то босса в местной администрации... Через два месяца они получили от Фёдора открытку, в которой тот писал о своих непростых переменах в жизни: о том, что у него родился сын, и о том, как всё это тяжело, маленький ребёнок... Открытка была вся помята, будто её месяц носили в кармане брюк и постоянно нервно тискали в кулаке, засунув руку в карман. Край открытки был обожжён, словно её держали над зажигалкой или свечой, собираясь спалить и не посылать вовсе, а потом пожалели написанных слов и послали по любимому адресу...

Слёзы закапали, точно из распаявшейся газовой колонки, перегретой до плеванья паром. Она чувствовала себя как девочка в начале её семейной жизни, стоящая посреди затопленной кухни и не знающая, чем и как собирать набегающую воду.

В тот день будто ампутировали половину её сущности. Она знала, что уж ТАМ ничего нет и никогда не будет, но она чувствует, как болит отрезанная половина. Пустота ноет, токает, не даёт спать по ночам, и она теперь нестерпимо боится произнести имя «Фёдор», когда Андрей ей дышит жарко в ухо.

Фёдор звонил несколько раз Андрею после этого ещё, они о чём-то там разговаривали, но для неё это уже не имело никакого веса — веса, который она чувствовала, будто тельце птицы в ладони, что подняли с пола, когда та разбилась о стекло, заглядевшись на отражавшийся в нём полёт облаков. Птица сидела нахохлившаяся, но живая, и почему-то не улетала — то ли не могла оправиться от удара, то ли переломала крылья и была больше не способна ле-

тать, а только могла падать камнем вниз, ровно сердце от горьких вестей.

Через год Лида забеременела Гришей, жизнь окончательно вошла в свои глубокие берега, весенние разливы делали её только шире и спокойней.

Иногда она перебирала письма Фёдора, перечитывала пожелтевшие страницы, пытаясь прочитывать и разглядеть то, что видела в чёрном омуте глаз, расширяющимся кругами по воде, будто от брошенного камушка её видения, и рыжее пламя костра отражалось в подёрнутом рябью кривящемся зеркале воды.

Лидия вспоминала его иногда, но так, как вспоминают рыжий кленовый лист, уплывший по течению вниз по реке жизни. Она была уверена, что больше ему не напишет и не позвонит никогда... Ан нет, иногда человек совершает непредсказуемые поступки. Где-то в глубине души у неё всегда жила иллюзия, что они ещё встретятся в этой жизни. Слишком многое их связывало, чтобы исчезнуть просто так, раствориться в небытие... Вспоминала лицо, проступающее сквозь мутное стекло вагона, засиженное мухами и захватанное жирными пальцами. Растерянное лицо, чем-то напоминающее лицо ребёнка, которого впервые повели в детский сад и оставляли на целый день среди новой жизни, полной разноцветных игрушек и незнакомых детей.

Когда всё страшное произошло в её жизни, оказалось, что тот кленовый лист, подхваченный ветром с глади реки, был занесён на чердак её души, где и притаился, скукожившись, засушенный и пыльный...

Она была уверена, что Фёдор просто не может не откликнуться, ведь она и Андрей были частью его жизни, они прожили вместе не такой уж короткий кусок своей молодости, кусок яркий, до сих пор слепящий глаза так, что захотелось зажмуриться. Она не собиралась врваться в его жизнь, как не собиралась и тогда в молодости, но ей было бы легче, если бы она знала, что есть человек, с которым у неё общие воспоминания и которому можно просто поплакаться. Говорят, что мужчины болтают, чтобы произвести впечатление, а женщины, чтобы снять стресс. Ей и не надо от него ничего было. Просто её душили воспоминания, что были общими у

неё с Фёдором. Она будто слышала его голос... Ей просто надо было рассказать свой прошедший день кому-то, с кем она имела один отрезок своей жизни. Она уже чувствовала себя маленькой заболевшей девочкой, у которой поднялась температура, которую сейчас уложат под ватное одеяло, нежно потрогают губами лоб, погладят по голове, принесут в постель чай с малиной и будут читать сказки с хорошим концом. Она уже ощущала его ласковую ладонь, которая гладит её, как ребёнка, по голове, прогоняя страшный сон. Она даже вздрагивала от редких телефонных звонков в квартире, ей казалось, что это Фёдор решил не просто написать ей, но сказать что-то согревающее. Она уже слышала его голос — и потухшие угли, разворошенные кочергой беды, начинали слабо вспыхивать оранжевыми огоньками, напоминающими отблеск костра на том берегу реки... Она стояла с ворохом воспоминаний, взятых в охапку, будто со старой смятой исписанной бумагой, готовясь швырнуть этот шевелящийся ком на еле дышащие угольки, чтобы потом подбросить туда и какое-нибудь свежее полешко от древа жизни.

Она протянула руку — и натолкнулась, как птица, с размаху на стекло. В стекле отражались облака её молодости, лёгкие и изменчивые. Ветер проносил их мимо, ероша их очертания. Облака плыли в стекле, будто лебеди по озеру, спрятав голову под крыло. Теперь она находилась на земле среди вороха прошлогодних листьев. Хрупкое стекло откинуло её на землю. Всё теперь болело от удара.

Медленно перебирала она своими узловатыми пальцами, всё больше напоминающими корешки деревьев, с которых содрали кору, пожелтевшие листки писем, погружаясь в воспоминания о тех днях, где вся жизнь была впереди и похожа на освещённое утренним солнцем море, глубокое и прозрачное настолько, что кажется: оно мелкое и всегда есть дно, на котором виден каждый обкатанный волной камушек. Надо только выпрямиться во весь рост и дотянуться носочком ноги до гальки, вот она, рядом... И не знала она тогда, что прозрачное море обманчиво и лукаво и есть лишь один способ дотронуться до коралла на дне: зажмуриться и нырнуть, поняв, что вода захлопнула над тобой своды.

Всё правильно. Она не собиралась ничего-

шеньки менять в своей жизни, так почему же она кусает губы, пытаясь запереть плач, словно дверь ногой придерживает, почему чувствует себя так, будто потеряла руку? Рука болит. Она ощущает её тяжесть, а потом пугается — и видит раскачиваемый ветром пустой рукав, болтающийся плетью, будто на вешалке или на чучеле, отпугивающем налетающие воспоминания.

Почему Фёдор не ответил ей? Почему он не ответил? У него не осталось никаких воспоминаний о том куске жизни, что они просвистели вместе? Но ей почему-то казалось, что это не так. Этого просто не может быть. Она была уверена, что это не так. Или мы просто проецируем наши собственные эмоции на других? Копируем и проецируем, а другие совсем ничего такого и не чувствуют? Но разве не было в её жизни того дождливого лета, что, вместо того чтобы загасить разгорающийся костёр, неожиданно раздуло его всей силой налетевшего ветра? Разве не лежали тогда рука в руке, отблески костра не отражались в потемневших зрачках, посылая ответное отражение в другие зрачки? Будто не было сбивающего дыхания и прогулок сквозь толпу? Боялся, что она потянет его из отутюженного и обложенного мягкими пуфиками мира в их походную палатку, брезент которой был изранен ветками и проколот насквозь тут и там так, что палаточное небо расцветало под утро одинокими звёздами, гаснущими, если раздёргивали вход в их шатёр?

Засохший лист, сжатый ладонью, рассыпался на труху, напоминающую известковую ржавчину, посыпавшуюся со старой, отслужившей своё трубы.

### 33

Внезапно она отчётливо вспомнила: словно занавес раздвинулся — и она увидела незнакомые декорации и новые действующие лица. На похоронах Андрея недалеко от гроба стояла молодая черноволосая женщина лет тридцати с небольшим. Длинные чёрные волосы, льющие на плечи, будто тяжёлый шёлк, были перехвачены на голове чёрной бархатной лентой. Одетая она была в какой-то чёрный обтягивающий пуловер крупной вязки, отделанный широкими воланами по горловине, на ру-



кавах и по низу жакета, и в юбку-годе, распадающуюся к лодыжкам фалдами, словно раскрывшаяся лилия. Женщину поддерживала под руку пухленькая блондинка в золотистых очках с химическими кудельками на голове, напоминающими шерсть пуделя. Обычные сотрудницы Андрея, коих было, по меньшей мере, десятка два. Почему же Лидия Андреевна обратила внимание на них? Женщины эти были как бы отделены от толпы невидимой прозрачной стеной. Потом Лидию Андреевну зацепили её глаза: большие, серые и серьёзные, как волнующееся море, они казались огромными, потому что их продолжали, словно лагуны, синяки под глазами. Впрочем, серыми были только радужные оболочки, а белки по цвету напоминали небо над морем, окрашенное только что запавшим за горизонт солнцем в ветреную погоду.

Услужливая память вильнула хвостом и поднесла хозяину палку: Лидия Андреевна увидела двух ровесниц Андрея, которых она шапочко знала ещё со студенческих времён, и, не слыша содержание их разговора, поняла, что те говорят о черноволосой женщине. Одна из них кивнула другой, взглядом показывая на черноволосую незнакомку.

Что-то такое в Лидии Андреевне щёлкнуло — и она почему-то подумала, что ТА женщина была не просто сотрудницей Андрея. Щёлкнуло это только сейчас, как если бы забарахлившие часы были заведены и их стрелки стояли, не шелохнувшись, примёрзши к циферблату, а потом внезапно дрогнули и начали свой ход. Женская интуиция, спавшая, как перекормленная кошка, свернувшись калачиком попереёк домашних тапочек, вдруг проснулась от севшей на нос мухи, чихнула, сладко потянулась, проехав когтями по паркету и точка когти, и встала на лапы, подняв дыбом шерсть и выгнув спину знаком вопроса. Не подходи, не трогай, под напряжением, заискрит!

Лидия Андреевна трясущимися от нервного напряжения пальцами, в предчувствии подтверждения своей догадки набрала номер телефона своей давней сокурсницы.

— Ты разве ничего не знала? Я была уверена, что ты просто делаешь вид неведения и соблюдаешь приличия.

Оксану попросил взять в его лабораторию директор института, стало быть, она была родственница кого-то из нужных директору людей. Андрей не любил таких сотрудников: и не потому, что те были бестолковыми, а потому, что ему всегда казалось, что в лаборатории появились глаза и уши, будто над его столом установили видеокамеру и магнитофон. Ему не нужна была научная сотрудница, он предпочитал мужчин, зато необходима была машинистка-секретарь. Когда он попросил её напечатать какие-то бумаги по проводимым тогда занятиям по «Гражданской обороне», Оксана будто плеснула холодной водой из потемневшего колодца своих глаз и сказала:

— Мне очень жаль тратить время на пустопорожную работу, печатаю я медленно и плохо, мне это неинтересно, и думаю, что вы бы должны были сначала познакомить меня поближе с темой лаборатории.

Он опешил и смутился, словно мальчик, застуканный родителями гуляющим по улицам во время школьных уроков. Никто из его сотрудников так ему ответить просто не решился бы...

— Да, конечно, — прожевал он и сунул ей первую попавшуюся книжку по изучаемой в лаборатории проблеме.

Откуда берётся любовь? Ещё вчера ветки стояли чёрные и голые, похожие на срезанную и запутанную колючую проволоку, а сегодня за одну ночь вдруг выстрелили клейкими листьями. Крона ещё прозрачна, ещё совсем не слышно её шелеста, но уже в жизни появился зелёный цвет, которого становится всё больше... Не знал, не замечал, а потом вдруг понимаешь, что уже пугаешься, что этот будто бы случайный человек может пропасть из твоей жизни, затеряться в толпе и во времени... Пугаешься так, словно боишься заблудиться в тёмном лесу — деревья стоят перед тобой бесконечной стеной, и справа стоят, и слева стоят, и оглянешься — там тоже лес...

Он считал себя примерным семьянином и был уверен, что с ним этого не произойдёт никогда... Он никогда не сбросит на землю поклажу, что будто тяжёлый рюкзак пригибает его к земле, превращая в смешной знак вопроса.

Он всегда был против служебных романов, которые мешали нормальной работе и отвлекали от дела не только двоих, но и всех наблюдающих, втягивая их невольно в свою светящуюся сферу, вызывая зависть, склоки и пересуды.

Он боялся признаться даже себе, что бежит на работу, словно мальчик, — совсем не потому, что его ждёт не сделанный в срок заказ... Перепрыгивая через две-три ступеньки, по двум пролётам этажей взлетал к себе в кабинет, оставляя сослуживцев толпиться у лифта в ожидании возвращения курсирующей вверх-вниз кабинки. Взгляд его скользил, будто по накатанному льду, разбегаясь от двери лаборатории и выделявая фигурные па, и останавливался, только споткнувшись о белую фигурку Оксаны, напоминающую заиндевевшие песочные часы. Постоянно до звона в ушах вслушивался в её голос, то тут, то там птицей присаживающийся на ветку в распускающемся саду его желаний, что становился всё более заросшим и походящим на тёмный лес...

Как-то незаметно для себя он стал руководить её научной работой. Ему просто доставляло удовольствие сидеть с ней рядом и слушать её голос, журчащий, словно ручеек из-под оттаивающего снега, весело сметающий все препятствия на своём пути, и думать о том, что молодость миновала... Нет, он чувствовал себя ещё молодым, но возраст узнаёшь по вырастающим детям; по тому, что жизнь входит в колею, свернуть с которой уже трудно; по пропаже из жизни ошеломительного; по желанию праздновать Новый год дома, завалившись на диване перед телевизором, завернувшись в верблюжье одеяло; по всё более частым изматывающим походам по врачам и по безвозвратной утрате возможностей реализоваться, ухватить журавля в небе и заставить его петь в клетке на подоконнике окошка в мир. Но, как оказалось, ошеломительное в его жизни было ещё впереди... Он бы никогда не подумал, что будет всерьёз скучать по склонившемуся над офисным столом профилю, закрытому от него, будто вуалью, струящимся чёрным шёлком волос, или что станет захлёбываться от счастья, купаясь в льющемся ключевой водой голосе, возвращающем его бу-мажным корабликом к берегу его юности.

Вечерами он, как и раньше, подолгу засиживался на работе, но теперь он не корпел, уткнувшись носом в бумаги, пытаясь сверстать очередной отчёт, чувствуя, что буквы постепенно превращаются в рой комаров-толкунцов, повисший смазанным и пульсирующим облаком... С неясным предчувствием чуда он шёл в бокс, за одной из прозрачных перегородок которого сидела молодая женщина, наблюдающая за блужданиями пера самописца по миллиметровой бумаге. Осторожно толкал стеклянную дверь, отражающую его долговязую фигуру, будто застывшее озеро в безветренный день, входил и приземлялся в кресло, откидываясь на его спинку, точно путешественник в самолёте в ожидании воздушных ям.

Кружево разговора было причудливо и витиевато, воздушные петли накидывались одна за другой ловким сальто гимнаста, взлетающего под купол шапито. Тонкий луч света, исходящий из глубины женского взгляда, следовал по траектории его движения, будто страхующее полотнище шёлковой ткани.

Всё чаще образ Оксаны возникал перед глазами, когда он растягивался на диване с газетой «Коммерсант» после работы, проступая, будто в альбоме для рисования для самых маленьких: когда окунаешь кисточку в водопроводную воду, налитую в баночку вместо краски, водишь ею по белому листу бумаги — и внезапно видишь, что проявляется нежная картинка в пастельных тонах. Он блаженно улыбался, заслонившись от домочадцев газетой. «Жизнь человеческая так коротка... — думал он. — И почему же не позволить себе впустить в жизнь огни ночного праздничного города, что растворяются без следа, окунувшись в подступивший дневной свет?»

Получив приглашение на очередную конференцию, он предложил Оксане отправить туда тезисы, так как для защиты диссертации ей нужны были публикации. Конференция проходила в правительственном пансионате в Подмосковье, в сосновом лесу, пустовавшем в холодную январскую пору. Прогулки по сугробам его не вдохновляли, но, прочитав, что в пансионате есть большой бассейн и сауна, он подумал, что можно позволить себе три дня релаксации от городской суеты, плавая в бассейне, а заодно и,

возможно, завязать контакты для интересного сотрудничества. То, что туда едет и Оксана, внесило в его жизнь забытое предчувствие счастья, будто от ожидания подарка под ёлкой и калейдоскопа сказочных представлений, что были в его детстве, когда ещё он не думал о том, что срезанные ёлки не могут быть вечнозелёными...

Ложечка брэнчала о стакан в такт колёсам, стучавшим швейной машинкой; поезд дёргался на стыках рельсов, но не снижал скорость; повешенное на плечики над полкой, а не у двери, женское платье качалось маятником — и от этого кружилась голова так, что Андрей старался не смотреть на это неуёмное качание, чувствуя, что начинает терять точку опоры. Он думал о том, что, в сущности, вся наша жизнь вот такое же равнодушное качание и дёрганье на стыках судьбы, где незнакомый стрелочник может перевести поезд на другие рельсы, но почему-то не делает этого, — и, несмотря на все свои шатания, поезд идёт по положенному маршруту к конечной станции, всё набирая скорость, отчего качание становится всё сильнее и сильнее. Пили чай с галетами и конфетами «Школьные», напоминающими варёный сахар, тающий на горячем языке. Их попугайками была молодая пара: ребята сразу после отхода поезда забрались каждый на свою верхнюю полку и завалились с книжками. Андрей пустился в воспоминания о своей защите... Ему почему-то казалось, что это всё было совсем недавно и он всё тот же тщедушный мальчик, перед которым вся жизнь впереди, надо только суметь правильно ею распорядиться. Молодая женщина сидела напротив и смотрела на него зелёными глазами, напомиравшими ему зацветшую воду, создающую иллюзорность дна под ногами. Женщина смотрела на него восторженно и влюблённо, огни пробегающих станций отбрасывали на её лицо свой свет, порхающий, будто солнечные зайчики. Он подумал, что молодость миновала и его жизнь состоялась, но почему-то хочется скомкать исписанный убористым и аккуратным почерком листок своей жизни, разорвать его на мелкие кусочки и выпустить из разжатого кулака горсткой пепла, подхватываемого ветром, что смешается с летящим за окном снегом. Неожиданно он услышал стук в окно, какофонически вплетающийся в азбуку Морзе, высту-

киваемую вагоном. Глянув на окно, темнеющее заплаканной заплаткой, он понял, что начался дождь. Капли ударились с размаху о стекло, будто насекомые, летящие на свет, и сползали вниз, сливаясь с другими. Дождь был не ко времени и не по сезону, взявшийся неведь откуда, превращающий законченную цельность и неповторимость налипших на окошко снежинок в единый кристалл льда.

## 35

**И** всё-таки Оксана утатила его гулять по ледяному бору, что за полчаса дождя превратился в стеклянный, нежно звенящий хрусталём сказочный лес. Обледеневшие ветки казались искусственными заизолированными проводами, тянувшимися к зелёным стеклянным светильникам, раскачивающимся на ветру. Выглянувшее солнце играло на этом богемском стекле слепящими глазами бликами, создавая впечатление иллюзорности и ненадёжности счастья. Искрящийся на солнце наст чудился залитым катком, на котором можно выделять головокружительные фигуры... Но это был обман. Блестящий лёд, как только они нечаянно сворачивали с натопанной тропы, легко обламывался под тяжестью походки, затягивая в спрятавшийся под коркой льда сугроб, будто в прорубь. Обволакивающая тишина и белизна наполняли душу восторгом и обдавали сердце ледяным воздухом мироздания, где ты казался себе снежинкой, медленно планирующей вниз. Скользили по накатанной тропе, раскинув руки, словно крылья, балансируя, точно канатоходец на канате с чувством странной раздвоенности. С одной стороны, ноги, устав от напряжения, казались деревянными, как у Буратино, у которого бедро и голень соединялись металлическим шарниром, грозя сложиться перочинным ножиком, а с другой, на душе было так легко, словно она была невесомым семечком, то скольльзящим, то парящим по ледяному насту. Андрея точно несло по тонкому льду: остановиться было уже нельзя: лёд тотчас же обломится... Оксану неожиданно занесло — и она легко коснулась его, будто прижимаясь, дальше они вместе по-

катились вниз по довольно крутому склону. С обеих сторон из-под их ног летел снег, как летят искры от затачиваемого лезвия, она чувствовала холодок через подошву. Андрею показалось, что его жизнь перетирается в мелкую пыль. Он попробовал слепить снежок — получилось, и кинул его в девушку, ускользнувшую от него вперёд по тропе. Оксана легко увернулась, как юла на одной ноге, — и, обернувшись к нему смеющимся лицом, подхватила следующий его снаряд прямо в подставленный ковшик ладоней. Заливаясь хрустальным смехом, бросила назад, точно мячик... Увернуться он не сумел — поймал снежок своей широкой грудью, там, где сердце. Андрей покачнулся и сел на землю... Но тут же с хохотом вскочил на ноги, проворно свалил новый ком снега — и запустил им в свою обидчицу. И опять промазал... Оксана нагнулась — и снежок пролетел над её головой, попав в сплетенье сосновых ветвей, точно в баскетбольную сетку, да так и остался там, будто нахохлившийся воробей. И снова он слепил снежок — и снова снежок пролетел теннисным мячом рядом с Оксаной, разбившись о шершавый ствол сосны в ледяную пыль... Новый Оксанин снежок съёс с его головы лёгкую кепку, что плавно спланировала где-то позади него. Захлёбываясь раскатистым смехом, что возвращалось к ним эхом, похожим на плач, побежал за кепкой — и получил снежный шлепок по заднице.

— Ах, так! Ну, я тебе сейчас покажу... — Метнул снежок, будто гранату, и опять оказался на земле, точно опрокинутый взрывной волной. Снова вскочил, чувствуя, что разгорячённое игрой дыхание сбивается с такта — и вновь запульнул снежный мячик. Оксана ойкнула — и растянулась на земле.

— Ага! — победно заорал он. — Теперь твоя очередь!

Но прошла минута — а девушка по-прежнему лежала на ледяной земле, беспомощно подогнув под себя ногу, будто цапля. Лицо, побелевшее и искривлённое, точно отражение на поверхности льда, застыло с гримасой боли.

— Что? Что? Ушиблась? Ногу растянула? — бросился Андрей к ней.

— Лодыжку очень больно. Растянулась так, что в глазах потемнело и всё плывёт ещё... —

подрагивающими на ветру белыми тесёмочками губ выдохнула Оксана, закрывая глаза, ставшие похожими на ставни заколоченных окон.

— Дай посмотрю. Тут больно? — спросил он, бережно ощупывая тоненькую лодыжку и чувствуя, как сердце куда-то провалилось, будто попало в воздушную яму, путешествуя среди облаков...

Девушка сморщилась, как от резкого удара, и тихо застонала. Было ясно, что сама до пансионата она не дойдёт. Вообще-то, ушли они от него недалеко, и он было хотел бежать за врачом и подмогой, но тотчас оставил эту мысль, понимая, что девушка, оставаясь на мокром снегу, может сильно застудиться.

— Ну, давай! Сумеешь приподняться и обнять меня за шею? — подсунул одну руку под худенькое тело, обвивая талию девушки, а другую подсовывая под колени. Тяжело приподнял со снега, как когда-то поднимал на руки детей, широко, по-бычьему расставив ноги, чувствуя, что может сам поскользнуться и упасть...

— Держись! А то не донесу! Выроню... — слыша, как взрывным устройством забухало сердце, начав свой смертельный отсчёт.

Переметнул девушку повыше к плечу, чувствуя её цепкие руки, оплетающие выюном его плечи, и медленно двинулся, думая только о том, как бы дотащить тянущую к земле поклажу. Голова Оксаны вытащенной из воды кувшинкой безвольно лежала на его плече. Снежные вершины на небе окрашивались нежно-розовым, будто повязка от сочившейся сукровицы.

### 36

Дежурившая в пансионате пожилая докторша, определив вывих и сильный ушиб с гематомой, легко вправила сустав и, наложив тугую фиксирующую повязку, сказала, что девушке надо пару дней полежать и хорошо бы сделать рентген: вдруг трещина? Нога Оксаны сильно распухла и пугала лиловыми пятнами с жёлтым отливом, будто была измазана синей глиной или илом.

Андрей чувствовал себя виноватым. Оставив девушку отлёживаться, ушёл в конференц-зал, но плохо что-либо воспринимал. Перед



глазами всплывало то смеющееся и раскрасневшееся лицо Оксаны, то это же лицо, ставшее похожим на гипсовую маску с прикушенными губами. Лица менялись, как заставка на рабочем столе компьютера. Ужинать он в ресторане не стал. Попросив поднос, сгрёб на него ужин на две персоны и понёс еду девушке.

Доковыляв до двери, Оксана впустила его в номер и вернулась к постели, примостившись на её краешке, будто на обрыве. Андрей пододвинул стол поближе к кровати, поставил ужин на стол, бросил в стакан кипятильник и уселся напротив девушки, откинувшись на спинку стула, точно продолжал движение в поезде, и снова пустился в воспоминания. В окно заглядывали сосны, оставляя мохнатые тени от веток на стене... Снова мельхиоровая ложечка бречала о стакан в такт капели за окном. Снова тени от крыльев скользили по лицам, снова янтарное вино, вобравшее знойное солнце лета и запахи моря, кружило голову и будоражило кровь запретным ароматом забродивших яблок из райского сада. Андрею было на удивление странно, что в жизнь вернулись какие-то напрочь забытые краски, что казались давно выцветшими под толстым слоем налипшей пыли. А тут, будто лёгкая рука смахнула влажной тряпкой всю суету с его жизни, точно натёрла зубным порошком потемневшее серебро дней, казавшееся тусклой закопчённой кастрюлей с налипшей на неё гарью и остатками убежавшей и пригоревшей пищи. И серебро заиграло, посылая свой лунный свет. Вот уже и рисунок, выгравированный на нём, проступает... И надпись. Жизнь слишком коротка. Пока любим, живём... Кончается любовь — уходит свет. Покачивался под её взглядом, как парашютист на ветру...

Неожиданно для самого себя он взял её за подбородок и повернул к себе её лицо. Её потемневшие глаза, похожие на холодную осеннюю воду, взбаламученную просвистевшей вблизи глинистого берега моторкой, смотрели испуганно и влюблённо. Её губы раздвинулись, поскольку ей было тяжело дышать. Его ладонь ощущала шёлковую мягкость её подбородка. Страсть, будто бронзовый колокол, ударила ему в голову, удар за ударом, раскачивая спящий маятник желаний.

Его руки крепко обвилились вокруг неё, словно

плющ, карабкаясь по её телу. Он прижал её к себе, стиснув так, что почти раздавил о свою грудь, бездыханную, ослеплённую, превратившись в стальной обруч. Казалось, что он вбирает в себя её тепло, впитывая, как пересохшая губка, молодость, силы и юношескую веру в то, что всё в жизни состоится, что всё лучшее впереди: надо только мелкими шажками хотя бы ползти всё выше и выше. Он приподнял её и, казалось, наполнял себя ею, будто бокал с выдержанным не одно десятилетие вином, вдыхая его терпкий и пьянящий аромат, впитавший в себя свет восходящего солнца где-то у береговой линии бескрайнего моря, равнодушно перебирающего гальку, точно время листает дни.

Она обмякла и, словно шоколадка в горячих ладонях, начала таять и перетекать в него, словно он был надёжным хранилищем её растекающегося содержания. Она растворялась в нём, тая и тая под его поцелуями, будто сахарная песчинка, возвращая в его жизнь вкус, пленённая, оторванная от земли.

Его пальцы перепархивали по её телу, будто воробьи, собирающие крошки пищи с земли, готовясь набрать высоту и полететь там, откуда весь мир с его проблемами становится маленьким и смешным, ровно букашки, что норовят удрать из-под птичьего клюва.

Он боготворил её, как старость боготворит молодость. Она, умытая слезами, была, как цветок в утренней росе, только что начавший раскрываться, нежный и источающий тонкий аромат, кружащий голову. А он казался себе таким старым, груз воспоминаний и жизненный опыт пригибали его к земле, словно яблоню с перезревшими плодами, которые никто не собирает.

Он приблизился к ней, всё глубже погружаясь, точно в горячую ванну, в её тепло, отогревающее замёрзшее на ледяном осеннем ветру тело, точно растение, чьи мягкие наружные ткани были прихвачены морозом. Он чувствовал, что распадается на части, размокает и тонет, смешиваясь с массой обволакивающей воды. Чудилось, что сердце в её груди — раскалённое солнце, разогревающее тромбозную кровь, что внезапно побежала по сосудам быстрее и беззаботнее, разнося весёлые пузырьки кислорода, будто брызги шампанского.

Он зарылся своей седой головой в её груди,

погружаясь в морскую бездну, словно юноша, впервые оказавшийся в подводном мире, полном причудливых колышущихся и переплетающихся водорослей, похожих на мир теней, и где собственные руки казались ему уродливо раздувшимися щупальцами. Она дрожащими руками прижала его голову к себе и гладила его волосы так, как в детстве гладила мама. Он показался себе плодом внутри утробы, бережно укрытым от внешней жизни, что лишь отдалённо напоминала о себе доносящимися до него звуками. Он чувствовал радость и благодарность, напоминающие ему забвение, которое, как глубокий цветной сон, наваливается на него, унося в свой водоворот.

У Оксаны же сна не было ни в одном глазу. Сильно болела лодыжка, и она еле сдерживала слёзы, чтобы не захлопать носом. Так с ней было когда-то после выпускной ночи в десятом классе. Она тогда проснулась в залитой солнечным светом спальне и подумала: «Ну вот, детство кончилось... Теперь я взрослая. И больше уже никогда не буду сидеть за партой среди своих школьных друзей...» И хотя впереди была новая жизнь, слёзы тогда хлынули, будто из заржавевшего вентиля, перекрывавшего воду, который вдруг резко повернули до упора в обратную сторону.

Она неподвижно лежала, оцепенело вглядываясь широко раскрытыми глазами в темноту, чувствуя, что руки Андрея обвивают её точно страховочные верёвки скалолаза. Ей казалось, что она карабкается по уступам скалы куда-то вверх, ближе к солнцу, неуверенно отыскивая ногой, зависшей над пропастью, точку опоры. Она слышала, как из-под стопы вырвались мелкие камушки размером с гальку и гулко ухали где-то внизу в мерцающую, точно никелированная поверхность, воду, оставляя за собой глубокие воронки, разбегающиеся кругами по воде. Ей чудилось, что волны мягко плещутся и разбиваются о берег — и в этом бесконечном шорохе монотонных волн было что-то неотвратимое, как судьба. Головой она сознавала, что это всего лишь ветер гуляет за окном, срывая и кидая расщеперившиеся шишки на обледеневшую дорогу. Она слышала ход часов, и ей казалось, что они стучат, будто сердце, слишком громко и слишком часто, норовя разбудить спящего Андрея.

Печаль прошла, но нахлынула неловкость, как свежесть после грозы, от которой хотелось поёжиться и втянуть голову в плечи. Она приподнялась на локте, мягко высвобождаясь из объятий Андрея, и поглядела на его лицо. Он был где-то далеко, не с ней, — и ей захотелось закричать от обиды, что вот он оставил её, маленькую девочку, одну наедине с этим ртутным лунным светом, терзающим душу и разливающим свои едкие невидимые пары, оседающие тяжёлым налётом на доньшке её души. Он спал — и время слилось для него в одно мгновение, такое радужное и неуловимое, будто мыльный пузырь, подхваченный потоками ветра. А для неё время тянулось, точно поезд у железнодорожной переправы, лязгая одинаковыми запялёнными вагонами с опущенными шторами, которым не было конца и что перекрыли ей путь. И ей ничего не оставалось, как тихо лежать и ждать. Теперь в её голове проносилась её пока ещё недолгая жизнь. Её детство, залитое солнечным светом, где она сидит на качелях, и надёжные мужские руки, густо покрытые чёрными волосами, от которых так бывает щекотно, когда она оказывается в их объятиях, раскачивают качели всё сильнее и сильнее. Ей уже до дурноты страшно, она взлетает всё выше и выше — и ей кажется, что мир сейчас опрокинется, перевернётся или она камнем полетит вниз с высоты своего птичьего полёта. Но она твёрдо знает, что упасть ей не дадут: этого просто не может быть никогда, как никогда не загореться воде. Поэтому она только крепче вцепляется в натянутые верёвки качелей, визжа и хихикая от страха, дрыгая ногами, будто пытается поднять брызги в слишком спокойной воде, отражающей её смеющееся лицо.

## 37

**Н**а следующий день Андрей в конференц-зал не пошёл. Снова принёс еду в номер. Он чувствовал такую умиротворённость и свободу, просто обнимая и целуя её. Нет, он помнил, что у него семья, и уходить из семьи он не собирался, просто в его застоявшуюся жизнь ворвался весенний ветер перемен, который понёс его, как отломившуюся от берега льдину, по течению... Наша жизнь слишком долга для одной любви.

Мало кому выпадает счастье одной любви на всю жизнь. Эта женщина просто появилась в мире, параллельном тому, где была его семья...

Оксана прильнула к нему. Он прижал её к себе и нежно, мягко поцеловал, чувствуя, как забилось взрывным устройством сердце. Просто сидеть рядом в счастливой неподвижности, вдыхая цветочный запах её волос. Он осыпал её лицо мелкими поцелуями — её волосы, уши, глаза, ставшие похожими на южные каштаны, висящие прямо над его головой, — только губы протяни; целовал, будто собирая капли росы, чистые и прозрачные, пресноватые и холодные на вкус, но от которых просыпаешься поутру для жизни. Его тёплое дыхание на ушах всколыхнуло её, и она прижалась к нему... Он почувствовал, что его кровь тяжелеет, точно горячая смола, готовая вспыхнуть ярким пламенем от неосторожно брошенной спички.

Его переполняло удивление от собственного поступка и последовавшего за ним превращения. Он, будто пригревшаяся на солнышке ящерица, оставил свой ненужный хвост, за который его так крепко ухватили, и тихо выскользнул, поражаясь своей новой обрубленной сущности. Мир раскололся надвое — и он нёсся в нём, наслаждаясь полётом и неведением того, что там есть, в этой второй половине мира. Он вложил свои пальцы между её пальцами, и непонятно было самому, что означал этот его почти инстинктивный жест: то ли он хотел, чтобы его взяли за руку и повели по этой неведомой для него половине мира, так же, как его всегда кто-то вёл по жизни раньше (а сейчас он плохо представлял, что делать с внезапно свалившимся на него чудом); то ли, наоборот, он сам собирался взять эту девушку за руку и, как дитя, тащить за собой в толчее толпы на шумной улице, где запросто можно потеряться...

Оксана подумала, что он, словно бутон, раскрыл её сердце. Сначала наблюдал, как зелёный бутон набухает, открывая розовую макушку, а потом, не желая ждать, когда цветок потянется к теплу, распахивая и выворачивая наизнанку свои лепестки, просто, как мальчишка, решил посмотреть, каким будет цветок, раскрывая его дрожащими пальцами...

Домой возвращались по снегопаду. Нога Оксаны была ещё зафиксирована бинтом, распухла, молния сапога под брючиной не застёгивалась, и она шла, чуть припадая на одну ногу, подгребая навалившийся снег, словно ложкой капусту в борще, ухватившись за локоть Андрея, тащившего две дорожные сумки... Снегу навалило за ночь столько, что автобус не смог подъехать прямо к пансионату, застряв на полпути, и ноги утопали в сугробах, ровно вzybучем песке. Идти было тяжело, казалось, что бредёшь по мелкой горной речке, с трудом поднимаясь вверх по её течению. Лес стоял точно засахаренный, густо обсыпанный мелкой снежной пудрой, отяжелевший, словно от поспевших плодов... Снег всё сыпал и сыпал из низкого, нависшего над головой небеса, казалось, готового обрушиться на голову толщей снега, съезжающего с покато́й крыши над крыльцом. Было какое-то странное чувство, что будто в самолёте завис в толще облаков и не движешься, хотя про себя хорошо знаешь, что на самом деле летишь с реактивной скоростью и пролетающие облака для взгляда снизу быстро меняют свои очертания... Сумки казались набитыми камнями, и Андрей слышал, как натруженно заходится сердце, пытаясь догнать своего хозяина, ускакавшего за своей молодостью, мелькнувшей, будто белых хвост среди поседевших веток, оставивший за собой голые, как обугленные, прутья по ходу своего движения, да облачко снежной пыли, весело припорашивающее узенькую тропинку. На душе было светло и муторно. Именно светло, но ничего не видно впереди, будто брёл он сквозь белый туман, неожиданно сгустившийся и навалившийся на тебя, словно сон. Точно он ещё спал, но сквозь тяжёлое ватное одеяло сна уже слышал дребезжащий звонок трамвая, доносившийся с улицы, и голоса родных за стеной, звучавшие пока ещё как шум, когда слов не разобрать, но знаешь, что они были произнесены, хотя даже и не пытаешься напрячься, чтобы их услышать: расслабленный и не желающий выныривать в холодное зимнее утро, возвращающее тебя к жизни искусственным дыханием ледяного душа.

Он не сказал бы, что его жизнь раздвоилась. Нет. У него была одна-единственная жизнь: две женщины существовали в ней параллельно и он делал всё возможное, чтобы они не пересеклись никогда.

Иногда он думал о том, какой бы она была, его жизнь, если бы Оксана всё время находилась рядом с ним: и дома, и на работе... Что было бы тогда? Был бы он счастливее? Лида была как мать, как старшая сестра, с ней он мог жить в домашних тапочках... Она брала на себя почти весь быт, делала так, что у него быта не было. Он приходил с работы, ощущая, как голову опять стянуло обручем, а ноги всё труднее оторвать от пола: будто магнит притягивает железо. Заваливался на диван, взяв в руки пахнущую типографской краской газету, включал телевизор, чувствуя, как до него доплывает запах жарящихся котлет, закрывал глаза и, бросив газету на пол, думал о том, что у него есть будущее, что он по-прежнему может найти тёплые материнские колени, в которые легко спрятаться от этого страшно большого и чужого мира. С Оксаной же он был старшим, который должен был вести её за ручку через дебри жизни. Ему нравилось заботиться о ней, но выдержал ли бы он эту пожизненную роль опекуна? С ней он становился моложе. Будто шиповник зацвёл в тёплом ноябре, когда время сбрасывать листья, готовясь к зиме. И чихать на то, что, возможно, нежные полупрозрачные лепестки будут схвачены морозом и просыплются на понурую пожухлую траву, не успев завязать плода. С ней он становился моложе, но ненадолго... Возвращаясь от неё сквозь вечернюю ещё людную улицу, шёл сквозь молодую толпу, огибая взявшиеся за руки или идущие в обнимку пары, и грустил о том, что его время истекает. Он не может остановиться вон как те двое, в одинаковых джинсах, прорванных у обоих на коленке, и куцых похожих курточках, и целоваться, наплевав на любопытные взоры прохожих. Ему совсем не хочется обитать в тесной Оксаниной комнатухе, доставшейся ей в наследство от бабушки, обивая бока о шкафы и стол, протискиваясь боком к софе, и тем более делить санузел и кухню с шумным и вечно празднующим семейством с тремя галчатами. Ему было страшно представить, что придётся

разменивать родительскую квартиру и грузить оставшуюся от них мебель, перевозя её на новое место, где придётся делать ремонт. Он знал, что будет скучать по домашним пельменям, к которым мама пристрастила Лидочку, ещё когда была главной в доме, сажая всё семейство за лепку пельменей за круглым столом, кружки для которых свёкор ловко вырезал рюмкой из раскатанного женой пласта теста, а все домочадцы должны были, положив в кружок из теста кусочек фарша, лепить миниатюрные пельмешки и складывать их ровными рядами на выставленные мамой противни. Он с тоской представлял, как стирает свои вонючие носки под краном хозяйственным мылом: мысль о том, что можно будет просить Оксану делать это, приводила его в дрожь. Возраст измеряется ценой душевных затрат. Отказываешься платить эту цену, значит, состарился.

Так или иначе, его жизнь оказалась теперь поделённой на две несмешиваемые части. Но, будто в пароварке, в которой одновременно приготовленные блюда были тщательно разделены по разным этажам, аромат каждого этажа проникал в другой... С последнего этажа по каплям просачивался не только запах, но и вкус... Внизу были Лида и дети, незыблемая основа его благополучия, которая, как внушали ему с детства, должна быть крепостью и крепость эту надо строить по кирпичику, возя на себе тяжёлые мешки песка и цемента, и катить по жизни телегу с камнями, точно коляску с младенцем: бережно и осторожно... Хорошо смазанный механизм, производящий мало тепла, но работающий бесперебойно. Он чувствовал себя вполне гармонично в этой жизни... Просто в серую, но мягкую и тёплую, будто бабушкин пуховый платок, обыденность ворвались краски цыганских нарядов... Позолтите ручку! И у вас будет впереди большая любовь, длинная дорога... к самому себе, тому, которого тщательно запирали в монашеской келье, набитой пыльными пожелтевшими книгами... Жизнь нуждается в острых ощущениях, иначе она угасает ещё при жизни. А его жизнь искрилась теперь новогодним бенгальским огнём, от которого летели искры, отбрасывающие свой свет на все окружающие его лица.

Как будто раньше он видел мир сквозь грязные стёкла, засиженные осами и мухами, и вдруг в



окно кто-то бросил камень. Свет брызнул мелкими осколками, грозя поранить и изрезать... Он увернулся и от увечившего камня, и от мелких звенящих брызг, похожих на водяные капли, отражавших солнечный свет в его лицо, и стоит теперь и смотрит на промытый от въедливой пыли мир, удивляясь яркости его красок.

Он чувствовал свою вину перед Оксаной, не перед семьёй почему-то, и очень боялся, что однажды Оксана постучит в его дом, чтобы сказать: «Это моё. Отдайте! Я хочу быть полновластной хозяйкой...» И ему тогда придётся объяснять, что двадцать лет совместной жизни так просто, как крошки со стола, не смахивают...

Он не особо скрывал своё увлечение на работе, не пытался конспирировать. Зачем? Он видел теперь частенько не бумаги, испещрённые чертежами и формулами, листая которые он обычно чувствовал азарт гончей, бегущей по следу, а склонённый над прибором женский профиль. Он осторожно обводил его по контуру любующимся издали взглядом, точно рисовал под копирку... Формулы становились куском бесформенной глины, расплывающейся в его сильных руках. След обрывался, смываемый неожиданно налетевшим грибным дождём... И хоть уже сияло солнце, след растаял, и тоненькая прерывистая нить пульса, с таким трудом нашупанная им в мозгу, терялась безвозвратно. Хотелось только прижаться губами к затылку Оксаны, разрушив неподвижность её волос, и замереть оглушённым их плеском...

Он думал о том, что любовь — это потеря контроля над собой и жизнью, что это — когда по бурной реке, через пороги и аж захватывает дух... Тебя просто несёт, сносит неведомо куда... Нет, только не это... Счастливо лететь навстречу своей гибели, что вон уже маячит впереди острыми зубцами, перегородившими горную речку... Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт... Обойдёт, любуясь притихшими низинами, ожидающими сходов снежных лавин, но не останавливающими своего буйного и опьяняющего цветения.

В жизнь вернулось очарование того времени, когда был свободен и юн — и вся жизнь лежала перед ним, как белый, разлинованный листок, на котором по аккуратным клеточкам можно было легко воспроизвести любую милую твоему

сердцу картинку. Так, по крайней мере, казалось когда-то... Теперь он знал, что по клеточкам можно отобразить правильно только контур: того неумовимого дыхания жизни, что зовётся вдохновением и даровано свыше, в этом тщательно выполненном рисунке не найдёшь никогда. Он знал, что не свободен и уж тем более не юн... Но тревожное очарование того выпускного вечера, когда сладко пах жасмин, в чей аромат нежно вплетались нотки отцветающей сирени, в кистях которой с надеждой и замиранием сердца в очередной раз выискиваешь пятипалые лепестки и проглатываешь их, ощущая во рту сладковатый вкус... Было что-то в этом его нынешнем времени от того, когда он утром проснулся после выпускного бала и с щемлящей душу тоской разглядывал комнату, залитую послеполуденным солнцем... Вот и всё... Школа кончилась. Он больше никогда не будет ходить по школьным коридорам, где малышня путается под твоими ногами, а звонок на урок пронзителен, будто сирена, чтобы быть услышанным в гвалте и визге кучи-малы, собравшейся на школьном дворе. У него впереди новая школа и новая любовь, хотя соседка по парте, у которой он исподтишка сдувал математику и жиденький конский хвост которой, завязанный на боку пшеничной головы, всё время падал в её тетрадь, точно хотел смести набросанные в ней цифры и знаки, — та соседка не забудется никогда и будет его тревожить всю жизнь видением случайной встречи в толпе...

Встречаться было негде, Оксана жила с матерью... Иногда сажал её в машину и они уезжали вечером недалеко за город... Вдыхал аромат её молочной кожи, зарывался лицом в перепутавшийся шёлк её волос, целовал нежную раковину уха, пробовал горячим языком рубиновые камешки, горевшие в ушах, словно капельки выступившей крови, клевал их, как птица клюёт просвечиваемые холодным солнцем осенние ягоды калины... Смотрел не отрываясь, впитывал её в себя, как лист поглощает воду... Оксана любила зажимать его голову своими ладошками, словно изолировала его от звуков внешнего мира, и подолгу смотрела в его глаза, сняв с них очки. Её долгий взгляд был как дуновение тёплого ветра, приносящего чувство размеренного умиротворения, но

после продолжительной прогулки от него неожиданно чувствуешь резь в глазах... Иногда они недолго гуляли по лесу, вдыхая кружащие голову ароматы полевых цветов и трав или грибной запах прелой листвы, мягко пружинящей под ногами. Порой он принимался весело сшибать носком нагуталиненного ботинка грибы-дымовики. Смотрели, как гриб взрывается и поднимается эфемерное облачко пыли, будто кольца папиросного дыма. Он подумал как-то, что вот и вся наша жизнь с её иллюзорными любовями, вырвавшимися от намеренного или случайного удара чьего-то ботинка, рассеивается облачком пыли, роняя на землю свои споры, стекающие призрачным дымком.

Иногда сидели на берегу реки, равнодушно уносящей воду мимо них, всматриваясь в своё двойное отражение о двух головах... Изредка говорили. Он не мог вспомнить о чём. Разговор этот трудно было записать. Нужна была нотная бумага со скрипичным ключом в начале строки... Он глядел на воду и думал о том, что уже когда-то очень давно вот так же всматривался в неуловимое, переливающееся огненными осколками расплавленного стекла отражение двоих, которым неминуемо суждено разомкнуть объятия, чтобы вернуться с обочины на ровное широкое шоссе и влиться в поток машин, едущих в одном направлении...

Он будто хранил в тёмной комнате своей души точёную фигурку, покрытую фосфором, нежно фосфоресцирующую в темноте и освещающую цель. Как только он обнаруживал, что свет пропадал, иссякал в темнице без окон, без дверей, он на ощупь находил его и старался вытащить на волю, заряжая потоками солнечных лучей. Выискивал совместную командировку, очередной симпозиум или конгресс...

Теперь он старался прихватить её в любую командировку с собой, ничуть не заботясь о том, как это выглядит со стороны. Он снова чувствовал себя молодым и с удивлением думал, что жизнь только начинается... Гуляли в праздной толпе в обнимку, не боясь быть узананными. Он даже доходил до того, что часенько сажал в набитом автобусе по дороге к гостинице Оксану к себе на колени, совсем не ощущая холодного сверла взглядов своих ровесниц, а чувствуя только тепло, разливающее-

еся по телу, будто бы он сидел и отогревался в горячей ванне, наполненной чем-то пахучим и расслабляющим... Автобус подпрыгивал на разбитых дорогах, постоянно резко тормозил и замирал в ожидании, что зелёный кошачий глаз светофора поглядит снова из темноты, и так же резко срывался с места, словно вспоминал, что куда-то может опоздать... Оксана подпрыгивала и елозила у него на коленях. Он почему-то вспоминал совсем маленькую Василису, как качал и подбрасывал её на коленях: «По кочкам, по кочкам...» Только теперь его колени не разъезжались шутивно, имитируя падение с кочек в пропасть: знал, что не удержит, как удерживал дочь, а только крепче сжимал молодую женщину за её осиновую талию, осторожно погружая своё разгорячённое лицо в чёрный омут волос, медленно засасывающий и тянущий русалочьей рукой его всё глубже туда, где очертания мира расплывчаты, а звуки от внешнего мира приглушены настолько, что кажутся шёпотом прибоя, катающего гальку. Опять в воздухе пахло весной и буйным цветением, к которому теперь примешивался прелый запах прошлогодней листвы... Жечь костры не хотелось, не хотелось и сгребать эти прошлогодние листья, но он был уверен, что молодая трава пробьётся сквозь них и так...

Он был благодарен Оксане за то, что она как бы от него ничего и не требовала. Она приняла его таким, каким он вломился в её жизнь, вломился бесцеремонно, будто подвыпивший гость, прогуливающийся по развезённой осенними дождями просёлочной дороге, которого вдруг качнуло и повело по скользкой глине в сторону, — и он сам не заметил, как очутился в чужом саду, полном поспевающих, но ещё зелёных яблок в прозрачных каплях то ли росы, то ли дождя.

Думал ли он когда-нибудь о том, что Оксане может быть больно? Нет... Пожалуй, серьёзно никогда. Он даже не отмахивался от этой иногда где-то возникавшей у него в подсознании мысли, начинающей виться над ним кругами, будто пчела: он старался не делать резких движений, просто не замечать её — тогда не тронет и улетит. Он ласково целовывал солёные бусинки слёз, напоминавшие ему брызги от нежного морского прибоя, чувствовал своими горя-

чими губами слипшиеся ресницы, нежно щеко-тавшие его и возбуждающие, словно птичье перо, что жена любила выдёргивать из царапающей её щеку подушки и будить его дуновением пера по приоткрывшимся во сне губам.

Иногда ему казалось, что он для Оксаны так... стареющий фавн, решивший самоутвердиться и проверить, не отсырел ли порох в пороховницах, а сама она знает, что ГЛАВНАЯ встреча её жизни ещё впереди и ей совсем не нужен облезлый стареющей лев, больше похожий на домашнего раскормленного кота, которому не то что мышшей ловить неохота, но и от мойвы кости в горле застревают... Но по тому, как она иногда смотрела на него; как впитывала, будто воду из лейки, то, что он говорил; как удивлённо и восторженно расширялись её глаза, словно у ребёнка, сидящего на новогоднем представлении в полутёмном зале, освещаемом попеременно вспыхивающими цветными прожекторами, он думал, что она тоже равнодушна к нему. Думал с изумлением и благодарностью. Как странно устроена жизнь!.. Когда казалось, что всё в твоей жизни капит по заботливо проложенным родителями рельсам, когда любой шаг в сторону равнозначен катастрофе, крушению, сходу под откос и гряде искорёженного металла и искалеченных жизней, вдруг выясняется, что можно премило ехать благополучно по рельсам дальше, про себя зная, что запасной путь есть, надо только вовремя успеть перевести стрелки. Или даже сделать передышку на станции, когда поезд отгоняют на запасной путь, чтобы загрузить топливом ночью, когда все спят и думают, что продолжают двигаться в нужном направлении...

Как-то Оксана сказала ему, что он — крошечный островок в её море жизни, на который её неожиданно выносит. Она ощущает, что вдруг начинает шкрябать ногами дно, а потом и вообще выбирается на маленький кусочек суши для передыха, с удивлением чувствуя, что этот островок качается, точно болотная кочка, да и вообще того и гляди его совсем захлестнёт поднимающейся волной.

Он жил с ощущением, что не сегодня завтра Оксана ускользнёт из его жизни, точно намыленный мячик, весело вырвавшись из его рук и запрыгав по дороге жизни в объятья своего ровесника, предложившего руку и сердце.

Но Оксана никуда не исчезала из его жизни. Похоже, она уже чувствовала себя в ней хозяйкой. Он с удивлением стал замечать в её голове нотки собственника, который, правда, боится, что государство в очередной раз заставит его оформлять по новой документы, без которых эта собственность снова оказывается недействительной. «Это моё, моя территория, мой любимый» — будто собачонка запрыгивала на хозяйскую постель и чувствовала себя оскорблённой, если на ней оказывались табуретки кверху ножками, предусмотрительно оставленные Андреем...

Как-то так для него самого незаметно оказалось, что Оксана теперь частенько подводила его к принятию какого-то решения на работе. Она в ярких красках описывала ему то, о чём он только догадывался и что происходило у него за спиной... Она давала ему советы — и всё чаще они имели приказную нотку. Она без стука входила к нему в кабинет, бережно отодвигала его бумаги, будто возвращала на место сдвинутую повязку на повреждённой конечности, вскидывала на него свои распахнутые глаза, которые ему всё чаще казались озерцом гейзеровского происхождения, вскипающим в глубине пузырьками извергнувшегося под землёй вулкана. И снова жизнь искрилась и пенилась на солнце, будто шампанское... И снова он плыл в тёплой струе подводного течения, весело щекоктавшего загрузевшую кожу...

Иногда его охватывал страх, какой бывает, если посмотреть с высоты горного хребта вниз. Вся лежащая перед ним жизнь казалась отчётливой и мелкой, игрушечной даже. Хотелось поскорей отступить назад и не рассматривать простёршиеся взору окрестности. И это всё? Холодный сквознячок змеёй скользил по его позвоночнику от мысли, что однажды его роман станет известен дома или Оксана захочет легализоваться окончательно. Он был словно мальчишка, что прятал от домашних в кармане пиджака первые закуранные сигареты, заведя приближающихся взрослых, но успев насладиться несколькими затяжками и уже привыкнуть к куреву настолько, что завязать невозможно...

Подчас он с удивлением наблюдал за Оксаной — и ему казалось странным то, что он находил в её поступках и словах умудрённость возрастом.

Откуда? Откуда у неё эти суждения завершающего свой жизненный путь, конец которого вон уже виден у кромки поблескивающего стальным холодом океана на краю земли... У него в её возрасте этого не было. И у Лиды не было. Другое поколение? Или это он перелил в неё, будто пойманная мудрая змея в подставленную чашу, целительный в микродозах яд?

Так или иначе, но Оксана мудро делила Андрея с его семьёй и не собиралась ничего разрушать...

Иногда вечером он набирал номер её телефона и молча клал трубку, услышав любимый голос и её дыхание. Несколько раз у него было так, что трубку на том конце провода никто не брал... Он места не находил себе тогда, не спал, долго ворочался с боку на бок, будто тюлень, выползший на сушу, представляя Оксану в объятиях молодого соперника. Пару раз он не выдержал и спросил, где та была, на что получил ответ, что дома: просто телефон не работал... И вообще, почему это она должна перед ним оправдываться, когда он спит под боком своей жены?..

Обида и ревность захлёстывали его волной от теплохода, прошедшего где-то за пределами его видимости, он терял управление — и лодку его мыслей начинало медленно крутить на том месте, где Оксана обвивала своими русалочьиими руками шею другого.

Он совершенно не мог тогда работать, становился рассеянным, не слышал, что спрашивали его подчинённые, раздражался... Оксана как-то сказала ему:

— А ты не думаешь, что я теряю с тобой время? Годы уходят... Уж не решился ли ты уйти из дома?

Он тогда замер, будто заяц под кустом, увидевший промелькнувший лисий хвост. Нет. Он и не думал выбирать из этих двух женщин, как не выбирают из двух своих детей или родителей. Выбери он одну из них, он бы ампутировал часть себя — и стал бы покалеченным уродом, всё время ощущающим свой пустой рукав и пустую штанину... Ему даже на костыль упереться было бы нечем.

Оксана испепеляла его своими горящими глазами, протыкала насквозь, словно тоненький ломтик хлеба металлическим прутом для поджаривания над высунутыми языками костра.

Порой он спрашивал себя: настолько ли его жена мудра, что делает вид, что ничего не замечает, или она и вправду ничего не подозревает, или просто боится, как и он, смять и испачкать их накрахмаленную и отутюженную жизнь? Так или иначе, но после своих командировок он с усердием преданной собаки, возвращающей хозяйке кинутую той палку, принимался за дела по дому: занимался с детьми, ходил с ними на прогулки, делал мелкий ремонт, таскал сумки из магазина, прибирался в квартире и даже иногда готовил что-нибудь вкусненькое, чему мать успела его научить.

Жизнь, вышедшая было той весной из берегов, вошла в своё русло и текла с такой скоростью, что плыть не по её течению стало невозможно и бессмысленно. У Оксаны появлялись какие-то мимолётные молодые люди, что долго не задерживались подле неё: неминуемо относил в сторону. Он знал, что она страдала от этого и хотела бы найти достойную замену ему, которого считала безнадежно женатым и которого не желала видеть стареющим рядом с собой, ещё молодой... Так и жили одним днём, что длился не один год, прочерчивая на её лице первые нестрашные морщинки, будто на земле, пересыхающей на полуденном солнце, которые расправлялись с оседающей под утро росой.

### 39

Теперь у Лидии Андреевны в жизни остался единственный близкий человек и единственный мужчина — это её сын. И она со страхом думала, что недалёк тот день, когда она почувствует, что он может обходиться без неё...

Гриша рос домашним, интеллигентным мальчиком, пожалуй, даже маменькиным сыночком. Лидии Андреевне страшно вспоминать, что его бы могло не быть: второго ребёнка она не хотела. Но, как это и бывает почти всегда, младший становится любимым и лелеемым. На всём его внешнем виде лежала печать материнской любви: на отглаженной рубашке; на бутербродах, заботливо завёрнутых каждый в салфеточку и сложенных в полиэтиленовый пакетик; на аккуратно постриженных волосах с женской чёлочкой; на обёрнутых в целлофан учебниках; на очках в



тонкой серебристой оправе с очень толстыми стёклами, делающими глаза Гриши выпуклыми, будто у жабы, а взгляд беззащитным и детским; на справках об освобождении от физкультуры; на билетах в театр в каникулы; на журналах «Юный натуралист», картинки из которого он вырезал к каждой теме урока по природоведению и географии и наклеивал в тетрадь; на том, что должен быть не позднее восьми вечера дома и сидеть за семейным ужином, а не в компании ребят, поющих под гитару на скамейке во дворе и регулярно смачивающих хрипящее горло пивом или чем покрепче. Материнская любовь была на нём как клеймо и отпугивала от него мальчиков. Звали его «пенсне». Над ним частенько подшучивали и мальчики, и девочки. Одноклассницы однажды мелко нарвали бумагу и насыпали в его капюшон. Гриша был очень рассеянным мальчиком, и это все знали, поэтому, одеваясь, он ничего не заметил, а когда вышел на улицу и помчался домой, то бумажки полетели из весело подпрыгивающего в такт его шагам капюшона, а осенний порывистый ветер понёс их прохожим в лицо вместо снега. Встречные смеялись этому снегопаду, а злобная тётка с метлой заорала: «Вот я тебя сейчас в милицию, чтобы родителей твоих штрафнули! Будешь знать, как мусорить!» В другой раз мама нашла в пиджаке его формы тюбик губной помады, что ему, видимо, засунули, пока он делал прививку от оспы у школьной медсестры. Как-то он всю перемену ходил с прилепленным скотчем на спине объявлением: «Ищу любовь учительниц». Однажды он пришёл в школу в новом белоснежном свитере и его тут же позвали на большой перемене играть в футбол, заставив стать вратарём. Причём голы пытались тогда забить по сговору, как он понял потом, и свои, и чужие. Сколько раз он садился на острые кнопки или в буквальном смысле в лужу, не заметив близорукими глазами подвоха на стуле. Дети жестоки. А ведь Гриша был добрым мальчиком, никогда не подводил ни в чём товарищей, никогда не ябедничал ни родителям, ни учителям на своих обидчиков, давал всем списывать, делился своими бутербродами. Даже подборки любимого журнала «Юный натуралист» за целых три года он опрометчиво лишился, принеся их своему однокласснику, когда тот попросил его об этом. Од-

ноклассник этот был совсем незаметный в классе, бесцветный, будто тень, учился еле-еле, никогда не хулиганил, на переменах тихо сидел за своей партой, не участвуя ни в каких играх товарищей, и даже редко выходил из класса. У него недавно родились братики-близнецы. Гриша был тогда даже горд, что у него попросили почитать журналы, выписать которые имели возможность не все родители. Журналы к нему не вернулись. Соседка по парте сказала тогда, усмехаясь: «Да он из них все картинки вырезал». Гриша тогда никак не мог постичь, как же так можно изрезать чужие журналы, которые попросили лишь почитать. Он тогда даже нажаловался отцу, выписывавшему всю домашнюю периодику, и отец, на родительском собрании повстречав родителей одноклассника, рассказал им об инциденте, но воз журналов и ныне там. Не Гришино относительное семейное благополучие и достаток делали его изгоем, в классе были мальчики и из семей побогаче, а именно то, что он весь излучал материнскую любовь, впитав её, будто краснеющее и наливающееся соком яблоко лучи летнего солнца.

Когда Грише было пять лет, отец принёс домой в литровой банке рыбок: несколько гуппи, почти прозрачных и перламутровых, будто плёнка от пролившегося из мотора бензина, затянувшая поверхность реки; парочку ярких меченосцев и чету вуалехвостов, один из которых был оранжевый, точно заходящее солнце, а другой золотисто-жёлтый, словно солнце в полдень сквозь дымку, которые тарасили свои телескопические глаза. Рыбок поместили в освободившуюся из-под варенья трёхлитровую банку с широким горлом, пустив туда плавать зелёные кружки водорослей. Василиса довольно равнодушно отнеслась к отцовскому приобретению, а вот маленький Гриша буквально носом прилепился к банке, наблюдая, как рыбки, разевая рты, искажённые баночным стеклом, подплывают к нему вплотную и целуют его огромным ртом. Восторгом не было предела. Гриша потребовал, чтобы банку с рыбами поставили к нему в спальню. Через месяц трёхлитровая банка была заменена круглым аквариумом, в который были насыпаны песок и галька, доставленные с какого-то пляжа; в песок были поставлены два красных кув-

шинчика со струящимися вверх водорослями, похожими на узенькие ленточки. Были куплены несколько разноцветных рыбок, одна диковиннее другой: серебристые плоские скалярии и дискусы, разноцветные попугайчики и барбусы, золотистые и пятнистые гурами... И даже были заброшены в воду несколько настоящих улиток, что присасывались к стенкам аквариума и висели на них, показывая миниатюрные рожки. По пластиковой трубочке побежал, будто в стакане с кока-колой, весёлыми пузырьками кислород. Детское удивление вскоре переросло в настоящее увлечение, и Гриша мог часами промывать и очищать аквариум, собирая стеклянной трубочкой остатки жизнедеятельности рыб, прокалывать на сковороде песок, пересаживать разросшиеся водоросли, отсаживать беременных самок и родившихся мальков, дабы уберечь их от участи быть съеденными родителями и братьями по аквариуму.

Другим его нешуточным увлечением стали попугаи. Попугаев была пара: голубой и жёлтый, похожий на канарейку. Он выклянчил их у отца, когда они были в зоомагазине. Гриша их очень любил, терпеливо учил разговаривать, но попугайчики произносили только несколько слов. Самочка говорила «Край» и «Тревога», а самец «Холод». Было ли ему холодно на самом деле и какой смысл птица вкладывала в это слово — никто не знал. Зато попугайчики довольно часто что-то чирикали на своём птичьем языке, постоянно наполняя комнату воспоминаниями о быстротечном лете и заброшенной даче.

Была попытка завести хомячков. Парочка прожила у них очень недолго. Вскоре самочка родила пять детёнышей, но каково было отчаяние сына, когда на другой день он не обнаружил ни одного из них. Гриша тогда ходил, понунив голову, будто глядел на своё отражение в бегущей воде, пропускал мимо ушей всё, что ему говорят: просто не реагировал, думая о своём, а ночью Лидия Андреевна услышала, что он всхлипывает в подушку. Она зашла в комнату к сыну, под села на кровать, погладила его встрёпанные шёлковые волосы, но он дёрнулся, как от ожога, и отвернулся, сдерживая рыдания. Плечи его вздрагивали, словно их сводило мелкой судорогой. Она стала их утюжить успокаивающими движениями, легко,

будто стирая пыль с полированной крышки пианино, стоящего у свекрови в гостиной, пока не почувствовала, что дрожь в его теле проходит. Обняла за плечи, поцеловала в макушку, сказала: «Я тебя очень люблю», бережно накрыла одеялом и вышла из комнаты, больше ничего не сказав. На другой день прожорливых родителей, съевших собственных детей, отнесли в живой уголок Дома пионеров.

Вопрос о том, куда идти сыну учиться, в семье не стоял: было ясно, что сын будет поступать на биофак. Даже отсутствие перспективы найти хорошую работу не отпугивало.

Лидия Андреевна смотрела на сына и думала о том, что это единственное, что у неё осталось в жизни ценного. Найти спутника жизни она уже вряд ли сможет. Все мало-мальски стоящие мужчины давно разобраны, а те, кто болтается подобно лодке, отвязанной в половодье и унесённой с суши растаявшими снегами, да так и оставшейся пока без руля и ветрил в ожидании того, что крепнувший ветер её куда-нибудь да вынесет, ей были, пожалуй, не нужны. Больше не будет ни весны, ни лета — одно лишь безвкусное, как водопроводная вода, время.

Сын для неё оставался во многом ребёнком, требующим её нежной опеки и постоянной заботы, но в то же время был уже достаточно взрослый, чтобы она могла сделать его неизменным советчиком и слушателем её переживаний. Она ловила себя на мысли, что ей постоянно хочется ему рассказать свой прожитый день. В то же время она часто замечала, что сын не слушает её, блуждает где-то внутри себя, по собственному лабиринту воспоминаний и предчувствий. Это её иногда обижало до слёз. Она начинала думать, что сын ускользает от неё, у него скоро будет своя жизнь, дверь в которую закрыта на замок с десятью степенями защиты, хотя пока сын охотно пересказывал события в университете и многие разговоры в лицах. При этом он отчаянно возбуждался, начинал жестиковать, строил гримаски, пытаясь передать выражение описываемого лица, подражал его тону. В этот момент он становился похожим на маленькую обезьянку. Пожалуй, он редко давал ей дельные советы, но разговоры с ним стали для неё, как сливное отверстие в ванной сбоку: когда она переполнена и вода скоро может побежать через

край — только боковой отвод предохраняет квартиру от затопления.

Сын теперь должен был быть всегда под рукой, будто носовой платок, чтобы вовремя промокнуть набухшие влагой глаза. Часто она сама, не дождавшись от него ответа, принимала нужное решение, но ей было легче это сделать после того, как она посоветовалась с сыном. Будто бы они вместе принимали это решение.

В то же время чуткое материнское сердце чувствовало, что её сын многое ей не рассказывает. Она пыталась несколько раз расспрашивать его, но наткнулась на грубость:

— Отстань! — нередко слышала она. — Поговори с кем-нибудь другим.

Обида нарастала в ней удушливым затишьем перед грозой, прорывающимся молнией, расколотившей уже где-то вдалеке горизонт.

— Смотри! Не будет меня, как отца, пожалеешь!

Сын глядел на неё глазами испуганного кролика, прижавшего уши. Мгновенно грустнел, пухлые его губы начинали нервно подёргиваться, взгляд устремлялся в бесконечность, весь он будто съёживался и становился похож на ребёнка, потерявшего маму в толчее магазина.

Весной, когда снег медленно сходил с лица земли, тут и там оставляя траурные ленты от впитавшихся в оседающие сугробы выхлопных газов и смога заводских труб, когда то и дело принимался моросить не по сезону нудный дождь, что вполне резонировало со звучанием струн души Лидии Андреевны и соответствовало её настрою вступить в серую безрадостную осень, осень деревьев, потерявших все свои листья и стоявших теперь одинокими и голыми, готовыми стеклянно зазвенеть от наступивших холодов, и всё она делала по инерции, с трудом переползая изо дня в день, когда перемёрзшая резина губ утратила свою эластичность и перестала складываться в улыбку, она вдруг обнаружила, что её сын всё время улыбается. Улыбка эта возникала у него спонтанно и была похожа на солнечный луч, пробивающийся между двумя тяжёлыми пыльными шторами. То, что сын рассеян, ничуть не удивляло её, она сама могла засунуть книгу в шифоньер, а расчёску в кухонный буфет, надеть кофточку наизнанку, а правый тапок — на левую ногу. И не то чтобы она

была всю жизнь рассеянной, нет... Это последние события её жизни никак не отпускали её и, будто невидимые нити, притягивающие марионетку, тащили её за собой. Сама Лидия Андреевна была здесь, а её мысли там, где её близкие стремительной походкой уходили от неё, словно вырванный из рук налетевшим ветром воздушный шар. Так и её сын не слышал материнских слов, погружённый под воду своих мыслей, и это давно не удивляло её. Она могла разглядеть лишь пузырьки на поверхности, которые он выдохнул. Когда он выныривал на воздух, поднимал свои близорукие глаза на неё, шурясь, будто от солнца, и спрашивал: «Что? Что ты сказала?» — это вызывало в ней только жалость и гордость, что её мальчик, её кровинка страдает так же, как и она. Они будто сообщающиеся сосуды, содержимое одного тут же перетекает в другой. У них общая боль, общие воспоминания, потери и жизнь, которая ещё продолжается. Но то, что сейчас он не слышал её, потому что у него появилась своя отдельная и тщательно скрываемая от неё жизнь, было очевидно. Нездешняя улыбка блуждала по его лицу, её мальчик парил где-то высоко в облаках — и материнское сердце ёкнуло в предчувствии новой потери. Было ясно, что сын влюблён, и, видимо, взаимно.

## 40

Он всё время убегает от неё и никак не может убежать. Она запрещает ему есть жареное и солёное. Она слушает все его телефонные разговоры и частенько вставляет свои реплики. Когда он говорит по телефону из своей комнаты, то слышит, как матушка осторожно поднимает трубку: в трубке тут же начинается треск и голос собеседника доносится будто издалека по междугородной связи. Она начинает звонить его друзьям, если он где-то задерживается. Она роется в его бумагах и ящиках письменного стола. Она не выпускает его из дома в межсезонье без шапки, поэтому ему приходится выходить в шапке и за углом дома эту шапку снимать. Она знает все его рубашки и говорит, что ему куда надеть. Он получает от неё хозяйственную сумку и тюк с бельём в прачечную.

Он, конечно, понимает, что ей сейчас очень тяжело, но нельзя же вцепляться в него так, что он оказывается будто замурованным под обвалом из бетонных плит, обрушившихся при землетрясении. Вроде бы и жив, а пошевелиться и выбраться не можешь.

Он был одинок, и лишь внимательный материнский взгляд сопровождал его повсюду. Это было так невыносимо, что его одиночество постоянно обнажали. Ему хотелось спрятаться, зарыться, как ракушка в ил, стать лягушкой, напоминающей прошлогодний лист или камень, неядовитой змеей, похожей на палку, мирно лежащей на обочине от тропы. Расспросы матушки злили его, и он не мог сдержаться, чтобы не ответить таким тоном, что распрашивать его пропадало всякое желание. Он знал, что он единственное, что осталось у неё, и она безумно его любит, но любовь — это власть, а всякая власть парализует. Он, будто бабочка, запутавшаяся в паутине её любви. Эти шёлковые нити налепились на крылья — и он может ими только подёргивать, что напоминает мелкое трепыхание, трепет, страх и невозможность лететь туда, куда глаза глядят... Нежность её голоса заворачивает в пелёнку — так, чтобы ручки были прижаты по бокам, он лежал, как в коконе, дожидаясь, когда, наконец, очнётся бабочкой, с лёгкостью порхающей с цветка на цветок, чтобы однажды в солнечный день не заметить шёлковую сеть паутины, которую уже не суждено будет разорвать. Бабочка сначала станет трепыхать нежными крыльями, будто в предвкушении свидания, а затем смирится и затихнет, понимая, что размах её крыльев строго дозируется эластичностью чужих, оплётших её, словно когда-то кокон, шёлковых нитей.

#### 41

Лидия Андреевна думала, что всё пережитое и Лего детская любовь к ней связывают их обоих обязательством и договором, под которым они подписались кровью. Оказалось, что это не так и кровью подписалась только она, подписалась при рождении сына. Она обнаружила, что он стал физически стесняться её и больше не переедевал в её присутствии. Чувствовала, что,

как и дочь, начинает оберегать свои мелкие тайны, духовные и плотские, от её бдящего ока, старается скрыть их под кучей привычного и обыденного для её взора — и покров тот настолько плотен, что она не может не только увидеть его секреты, но даже и угадать...

Это вызывало боль, досаду, ревность и раздражение. Разве не мечтала она, когда запикивала в него по ложечке манную кашу, а он отворачивался от её ложки, ёрзая по подушке, подложенной на детский стул, что он всегда будет жить с ней, не скрывая ничего от неё и не стесняясь её? Разве не тешила она себя иллюзией, что дети станут как половинки одного апельсина, у которых она, мать, — кожура, толстая и надёжная, предохраняющая их от высыхания души, мысли и тела? Кожура и мякоть, по отдельности друг без друга не существующие. Старость и одиночество... Тут нужно научиться не цепляться за ноги близких и не тащить их вниз. Найти своё место и не мешать. Она понимала это, и её мать была в этом для неё примером, но тоска и боль как бы перечёркивали жирной угольной чертой это понимание. Её жизнь перегнулась, как нагретая стеклянная трубка, — и всё в ней теперь идёт под углом потерь. Тоска похожа на тонкую нить паутины, протянувшейся между людьми. По краям её прилепились и сохнут жертвы одиночества, но и от них тянется нить к кому-то ещё...

Она ставила себе в заслугу своих детей и рада была при каждом удобном случае ими похвалиться. Если к ним приходили знакомые, она всегда вызывала детей показаться. Сына она неизменно просила продемонстрировать свой аквариум и рассказать о рыбках. В последний визит, а пришли к ней тогда две сотрудницы Андрея, которые принесли невыплаченную ему вовремя зарплату, она притянула сына к себе, обняла и сказала:

— Господи, на кого ты похож! — и, взяв массажную щётку, стала его расчёсывать. Гриша стоял красный как помидор и злой, но вырваться не решился.

— Вот, — сказала Лидия Андреевна, отойдя от него на два шага, оглядела со всех сторон своё творение. — А теперь иди!

За окном раскинула свой бархатный шатёр ночь. Наглая луна показывала половину своего



лица и лила на город желчь, проникающую в кровь и мозг Лидии Андреевны, рождая у неё смутное беспокойство, переходящее в раздражение и злость. Она утопала в плюшевом кресле, подложив под гудевшие ноги стул, и нервно смотрела на часы. Стрелки часов всё прибавляли скорость. Был одиннадцатый час ночи, а сын всё ещё не явился из университета, и хотя он иногда задерживался в библиотеке, ему давно пора уже было сидеть у себя в комнате. Ужин на двоих уж как пару часов стоял на плите, подготовленный к разогреву. Вчера Гриша пришёл в двенадцатом часу, но вчера он, по крайней мере, предупредил, что идёт в кино. У них в семье было заведено сообщать, если кто-то приходит поздно или внезапно задерживается. Такие законы были ещё со времён правления свекрови. Чувствуя нарастающее беспокойство, Лидия Андреевна стала ходить по комнате, как тигрица в клетке, наматывая круг за кругом. Что-нибудь делать она не могла, но почему-то не думала о плохом, вспомнив, что сын сегодня надел любимую розовую рубашку цвета пиона, правда без пиджака и галстука, а нацепив джинсовую куртку, и очень долго и тщательно начищал свои ботинки, что с ним случалось чрезвычайно редко, изгваздав всю прихожую чёрным гуталином так, что она казалась посыпанной сажей. Лидия Андреевна почти не сомневалась, что сын где-то гуляет.

Через четверть часа Лидия Андреевна услышала поворот ключа в замке. Она вышла в прихожую. Встала в проёме двери, ведущей на кухню. Сын буквально впорхнул в квартиру, будто облитый серебряным лунным светом. Луна, опрокинувшаяся на хребет, отпечатала свой профиль на его губах.

— Ну и где ты был? Ты, может быть, объяснишь своё поведение?

— В библиотеке задержался, — попытался мышью проскользнуть в свою комнату.

— Ты что, не мог позвонить?

— Почему я должен звонить? Почему я должен перед тобой отчитываться? Моя жизнь — это моя жизнь, и я не твоя собственность! Запомни это! — он буквально оттолкнул Лидию Андреевну и прошмыгнул в свою комнату. Она успела ущипнуть сквозь джинсовый рукав предплечье сына, ощущая, как, словно замер-

зающий пластилин, твердеет эластичная и податливая кожа под её сильными пальцами.

Лидия Андреевна ушла на кухню разогревать еду. Сама она есть уже не хотела, чувствуя, что её всю колотит, будто на ледяном ветру, и гремела сковородой так, словно хотела сбить замок с железного засова, на который её мальчик закрыл дверь в свой мир. Внезапно она почувствовала, что всё душное предгрозовое ожидание последних часов сейчас разразится ливнем. Она села на табуретку, мимоходом перекрыв газовую конфорку, и слёзы закапали с её белесых ресниц, словно с размочаленного рубероида крыши.

Сын вышел из своего укрытия и встал рядом, пингином переминаясь с ноги на ногу.

— Ну что с тобой? Ну, перестань! Не делай из выеденного яйца трагедию.

Лидия Андреевна вслушивалась в ту нежность, что она уже давно не слышала, — и ливень её слёз припустил сильнее. Сын стоял рядом в нерешительности, не умея ни обнять её, ни погладить по волосам. В этих слезах, будто в настоящем дожде, пролившемся из тучи, назревшей из испарений луж, было перемешано всё: жалость к себе; тоска по сторевшей в огне безумия дочери и неутихающая боль от потери мужа, рухнувшего, как пронзённое молнией дерево; плач по унесённой временем, будто высохший в бурных пятнах осенний лист, маме; грусть по своей наивной юности с её верой в «прекрасное далёко» и бескомпромиссной жестокостью к старшим с отстаиванием своей независимости от близких, служивших ей до поры надёжным крылом, под которое так захочется возвратиться, когда будет уже невозможно; укоризна сыну, что она покинула им и что он позволил себе забыть, что они недавно остались навсегда вдвоём из всего их большого семейства; надежда и призрачная, точно тающая на глазах рассветная дымка на горизонте, иллюзия о том, что оперившийся сын вернётся к ней назад в гнездо, раскочанное ветром, — и они до конца её дней будут неразлучны в печали и радости; лукавство, что её слёзы должны пронять, вывести за руку из весенних луж по колено и удержать возле неё.

Наконец, справившись с растерянностью, сын нерешительно взял её за руку — и она порывисто обняла его, прижала к груди, запусти-

ла дрожащие пальцы в его шелковую копну волос, потом отстранила от груди, посмотрела в глаза и сказала:

— Я тебя люблю. Очень-очень.

— Я тоже тебя люблю, — ответил сын.

Потом она стала говорить о том, что он единственное, что у неё осталось в жизни, а он пренебрегает ею, и бывают дни, когда он совсем её не замечает и не скажет ей ни словечка, а если они и разговаривают, то она прекрасно видит, что он совсем её не слушает, а витает в облаках и отдаляется от неё всё дальше, отгораживаясь возводимой по кирпичику стеной.

Потом они сидели за круглым столом на кухне и пили чай с овсяным печеньем.

Лидия Андреевна опять осторожно завела с сыном разговор, что он очень отдалился в последнее время. Она, конечно, понимает, что у него есть право на личную жизнь и свои секреты, но он должен помнить, что у неё в этом мире никого не осталось. Гриша ответил, что если он и избегает её иногда, то лишь потому, что его печаль нуждается в одиночестве. Ему хочется свободно приводить девушку, которая у него недавно появилась, в квартиру, в свою комнату, — и не чувствовать себя цирковым пуделем с воздушным бантиком на шее, которого вывели погулять на длинной шёлковой верёвочке и он всё время ощущает, как ошейник вгрызается в шею, а узел бантика напоминает сцепленные на горле пальцы.

Сердце Лидии Андреевны опять стояло на краю обрыва и осторожно заглядывало в пропасть. Неужели ей суждено сейчас потерять и его? Только не это. Нет, она, конечно, больше не будет показывать своё неприятие симпатий своего чада, Василиса дала ей страшный урок... Но ведь если бы дочь не захотела свободы от неё и не нашла в Илье того, чего у него не было и в помине, очаровавшись не его достоинствами, а собственной жадной любовью, то их семья была бы сейчас вся в сборе под этим розовым абажуром. Неужели всю свою жизнь она катила в гору камни, желавшие, чтобы их оставили на обочине и они поросли бы серым мхом?

Её замешательство было похоже на колебание воды, когда бросаешь в своё отражение камень. Когда она представила сына в его детской с чужой женщиной, она почувствова-

ла, что ревность снова захлестнула её, будто волна лодку, болтаемую на привязи далеко от берега, так как выше «спустили море» и вода поднялась. Там, где была земля под ногами и в неё можно было уткнуться разбитым носом, как в материнские колени, теперь была холодная заболоченная вода.

На неё смотрело доброе, доверчивое и беспомощное лицо сына, раскатанное скалкой её взглядом.

Когда сын поведал, как они с Машей познакомились и о том, что девушка окончила лишь ПТУ и больше не учится, а работает и снимает жилплощадь вдвоём с подругой, Лидия Андреевна не могла скрыть своего досадного удивления. Потом подумала: «Ладно, быстрее пропадёт интерес. С этой проблемой я как-нибудь справлюсь».

## 42

**М**ысль, что он спокойно сможет приво-  
дить Машу к себе домой и они будут  
втроем пить чай как семья, приводила его в  
эйфорическое настроение. Он почти не вспо-  
минал, что недавно потерял сестру и папу.

Познакомились они через её специальность. Это были времена, когда за джинсами выстраивались километровые очереди в Москве. Поэтому были мастера-умельцы, что эти джинсы шили. Девочка-швея разводила кактусы и от кого-то узнала, что на факультете есть мальчик, имеющий большую коллекцию редких суккулентов, причём большинство кактусов у него цветёт. Девочка попросила познакомить её с юным натуралистом. Гриша, друзья которого немного посмеивались над его увлечением, был рад принести кому-то маленьких кактусят. Сама девочка не вызвала у него никакого интереса. Худая как палка, коротко стриженная брюнетка, одевающаяся под мальчика: джинсы собственного пошива и бесформенный серый свитер, скрадывающий её худобу. От мальчика её отличало обилие косметики на веснушчатом лице: все ресницы были так густо намазаны тушью, что казались склеенными, будто на щётке для чистки обуви. Выщипанные чёрные бровки, точно нарисованные чёрным грифелем, прида-

вали ей выражение лица разбитной бабёнки, хотя лицо было обтянуто очень нежной и тонкой, как папиросная бумага, почти детской кожей, через которую просвечивал змеящийся ручеёк на виске. Глаза прохладные, как зеленоватая, подёрнутая ржавчиной осенняя вода. Узкие губы девушки, будто сложенные в постоянную усмешку, были, видимо, сильно обветрены и слегка шелушились, распускаясь отслоившимися лепестками нежно розовой губной помады с перламутровым отливом. Девушка курила, речь её казалась резка и сдобрена всякими современными жаргонизмами типа «чувак» и «клёво», что вызывали у Гриши всегда оскомину, будто он наелся красной рябины, ещё не прихваченной морозом, и ему было невдомёк, что неожиданный мороз может превратить эти ягоды в вишню в шоколаде. Звали девушку Машей. Маша была благодарна Грише за кактусы и предложила за «так» пошить ему джинсы, если он принесёт ей ткань. Но Гриша не решился просить у матери, чтобы та купила джинсу или дала денег на неё, сказал Маше «спасибо» и забыл про неё на месяц. Через месяц Маша позвонила ему по телефону и пожаловалась, что она оказалась никудышным натуралистом: все кактусы у неё стали загнивать от корня, становясь мягкими и рыхлыми, будто сопревший в целлофановом пакете зелёный лук. Гриша сказал, что он должен всё сам посмотреть и только потом сможет сказать, что это.

Жила Маша на съёмной квартире, что снимали они вдвоём с подружкой из ателье. Подруга два-три раза в неделю ездила домой.

Откуда возникает любовь, поднимающая нас от земли? Из чего возникает торнадо, смерч, отрывающий от земли дом или уносящий с собой его крышу? Зачем люди прыгают на неведомый плот, отчаливший от обыденного берега?

Маша смотрела на нескладного Гришу и слушала лекцию о кактусах, будто наблюдала за распиливанием женщины заезжим фокусником. Холодная дрожь, как быстрая сухая ладонь, скользнула по его спине. Иногда их руки сталкивались — и тогда каждому казалось, что он словно тронул летящую птицу.

Этот мальчик не был в её вкусе, она презирала мальчиков-хлюпиков. Зажгла сигарету, сделала

затяжку, красиво, как видела недавно в кино, отводя пальцы с малиновыми ногтями, напоминающими ландрин. Протянула ему сигарету. Он испуганно замотал головой и сказал, что просит её не курить, так как его тошнит от сигаретного дыма. Она пожала плечами, будто отсыревшей спичкой, чиркнула улыбкой, съёжилась и потушила зажжённую сигарету о песок в обрезанной пластмассовой банке из-под «Чистоля» с высаженным в неё кактусом. Пошла на кухню, нарочно виляя костлявыми бёдрами, принесла две чашки чаю, четыре бледные сушки и четыре ириски «Золотой ключик», два гранёных стакана, яблоко, что тут же разрезола пополам, и початую бутылку красного вина. Мария разлила вино по стаканам и предложила выпить за знакомство. Чокнулись звоном кефирных бутылок в авоське. Мария тут же осушила свой стакан — и сочно захрустела яблоком. Гриша отпил ровно половину, немного накапал в чай, а остальное оставил допивать по глоткам во время чаепития.

Чай пили в молчании, совершенно не зная, о чём говорить, сидя на краешке дивана, каждый прижавшись к своему валику. Гриша рассматривал дырявые тапки, что ему дала девушка, и почему-то чувствовал себя, словно на экзамене, перед которым всю ночь не спал, читая толстый учебник, а сейчас вдруг обнаружил, что ничего не знает, только ладони помнят тяжесть книги и шероховатый её коленкор.

Маша встала и включила магнитофон. Музыка этой он не знал, как, впрочем, ничего не знал вообще из того, что коллекционировали и записывали его товарищи. Бабушка иногда ставила дома слушать старые пластинки с романсами, некоторые из них ему нравились, рождали какое-то необъяснимое томление по чужой жизни, которая ушла, сорвавшись с острия патефонной иглы перелётной птицей, улетевшей в края, откуда не бывает возврата. Мама чаще всего просто слушала концерты по телевизору. Обычно за концерт попадались две-три лирические песни, что будили в нём нечто потаённое и возвышенное, будто звучание органа. Будто подснежник показывал свою взъерошенную головку птенца, пробиваясь из-под земли, потом вытягивал свою шею всё сильнее и сильнее, раскрывая, точно клюв, чашечку, жадно ловя первые солнечные лучи. Мария же

включила музыку, мотив этот он не знал, но она была типа утренней радиомелодии «На зарядку, на зарядку становись...»: расталкивала в человеке его сладко спавший жизненный тонус. Под неё тело сжималось в пружинку, которую хотелось бросить на пол и посмотреть, как она сокращается и удлиняется, извиваясь после того, как больно упала неваляшкой на пол.

Мария схватила его за руку и вытащила на середину комнаты. Подняв тонкие ручки со сжатыми кулачками, ставшие похожими на барабанные палочки, она запрокинула голову и задёргалась, будто кукла на сцене, что дёргали за ниточки за ширмой. Потом подскочила к лампе на комод, похожей на камелёк, щёлкнула выключателем. Затем, по-прежнему поддёргиваясь в танце, подскочила к выключателю на стене, щёлкнула им — и верхний свет исчез, точно в театре, когда на сцене начинается действие. Теперь вся комнатка была освещена отблеском костра. Язычок огненного змея подрагивал в светильнике в такт музыке. Девушка продолжала танцевать, всё больше становясь похожей то ли на языческую богиню, то ли на остриженную ведьму, пляшущую у костра. Вместо шаманского бубна звенели бубенцами металлические тарелки ребят из джаза. Гриша неловко переминался с ноги на ногу, будто стоял у классной доски. Мария протянула свои руки, показавшиеся ему ветками сухого, мотаемого ветром дерева, чья крона почувствовала приближающийся верховой пожар. Обожгла своими ладонями его затёкшие пальцы и стала танцевать вместе с ним, взяв его холодные, как студень, кисти в свои жаркие ладони, начала совершать ими движения, будто в детской игре «Кто кого переборет?» (когда становились, прижав свои ладони к ладоням соперника, и начинали давить друг на друга). Только перебарывала в этой игре всегда она. Толкала плечом, как ядро, руку Гриши, а затем тянула на себя, будто рыболовную снасть. Гриша весь вспотел, пытаясь попасть с девушкой в такт, и думал только о том, как бы не отдавить её босые ноги, так как тапочки в начале танца были сброшены изящным движением ноги и улетели далеко под диван. Он чувствовал, что рубашка прилипла под шерстяным джемпером к телу, волосы слиплись, на

лбу выступил пот и стекает по носу так, что очки рискуют соскользнуть на пол. В ушах бухала музыка, в висках — разогнанная по сосудам кровь. Ему начинало не хватать воздуха — и он разевал рот, заглатывая кислород, как пойманная рыба, вытащенная рыбаком на сушу. Вдруг Мария выпустила его руки, как будто бросила надоевшую игрушку, и стянула с себя джемпер, оставшись в чёрном батнике, поблёскивающим и переливающимся в свете ночника, точно шкура змеи. Протянула снова руки Грише, но не взяла его за мокрые ладони, а просунула их под его руки, растопыренные, словно он пытался сбалансировать своё равновесие конуса, опрокинутого на вершину. Взяла ловкими пальцами закройщицы, примеряющей заказ, за широкую двойную резинку свитера и потянула, как с ребёнка, вверх. Гриша покорно поднял ватные руки. Когда его руки оставались ещё в мешке рукавов, а его нос уткнулся в верблюжью шерсть домашней вязки, Мария вдруг собрала резинку свитера движением продавщицы, завязывающей пакет, и, кокетливо засмеявшись, спросила изломанным голосом: «Ну что? Оставить тебя так? Попался, кот в мешке?» Гриша почувствовал, как колючая шерсть щекочет ему нос и он готов чихнуть, ощутил на пересохших губах свалывшийся ворс, погружаясь в колокол непроглядной ночи, накрывший его с головой, — и сквозь эту ночь и ляг музыки в ушах слушая зарождающийся комариный писк, сопровождаемый пиликаньем на скрипке кузнечика... Ещё чуть-чуть — и он потеряет сознание. Он резко дёрнулся и высвободился из свитера. Мария смеялась, показывая свои ровные мелкие щучьи зубы, глядящие из нежной раковины рта.

Снова зашла в танце, то поднимая, то опуская худые руки, оголённые теперь по локоть. Гриша смотрел, как браслет, надетый на руку, то съезжает на кисть руки, то падает на нежный изгиб локтя. Почему-то это движение напомнило ему жонглирование фокусника в цирке. В комнате было душно, словно и вправду светильник был настоящим электрическим камином. Показывал свой дрожащий язычок, дразнил и увеличивал отброшенные ими тени на стене так, что на ней будто происходило представление актёров театра теней,



изображавших сказочный поединок принцессы и чудовища. Гриша устал и хотел было сесть на стул, но снова его потная рука оказалась в капкане женской ладони с такой нежной кожей, что Гриша еле сдерживал в себе желание её погладить. Мария начала тягать его туда-сюда, будто хотела перепилить бревно двуручной пилой. Гриша чувствовал, что от духоты у него снова зазвенели колокольчики в ушах, блёстки с брошенной Машиной кофточки рыжими муравьями перебрались к нему в глаз и там копошились, видимо, перетаскивая соринку в глаз. Вдруг Мария снова отпустила его, будто тяжёлый куль, изогнулась — и вот уже змеиная шкура выползком поблёскивает где-то на кресле за её спиной. Крепко зажмуриться — только бы не ослепнуть... Гриша встал, как будто ему отдавили ногу, шурясь, точно на солнце от свежеснеженного снега, от сверкающей белизны кожи, сквозь которую проглядывали стекающие ручейки вен, стараясь не смотреть на ажурную шторку, сквозь которую просвечивали два лимончика.

— Ну, что встал, как витязь на распутье? Снимай свои доспехи! Жарко же!

Мягкая ладонь скользнула ящерицей под рубашку, сноровисто растегнув две пуговицы. Гриша застыл будто парализованный, чувствуя, как муравьи переползли ему на грудь. Его рубаха подбитой дичью полетела на диван.

Мария положила руки ему на плечи — и теперь они танцевали так. Ему пришлось приобнять её и положить руку на её талию, напомнившую ему горлышко кувшина. Он еле дотрагивался до неё, словно боялся обжечься, чувствуя, что белоснежная кожа может обжигать, как снег — вывалившегося в него из парной.

Дальше он плохо что помнит... Кажется, Мария его отпустила, и ей опять стало жарко, пенное кружево поплыло лебедем на софу. Следом полетели коршуном джинсы. В ухе снова противно запищали комары, да так громко, что музыка стала лишь аккомпанементом к их сольному номеру; муравьи, прочно обосновавшиеся в глазу, выстроили свой муравейник — и его серый холмик стал медленно заслонять эту полутёмную комнату; летающую розовым фламинго по кругу девушку; тени на полу, сломленные стеной, которые то-

же куда-то перемещались вместе с ковром на стене, с которого лениво взирал на их танец тигр, готовясь к прыжку; дрожащий огненный язык камелька, облизывающий девичье тело.

Очнулся он на диване. Женское лицо участливо заглядывало ему в глаза. Лицо было так близко, что он мог разглядеть его без очков. Зелёные глаза превратились в чёрный колодец с поросшим мхом срубом. Тушь скрошилась с ресниц — и казалось, что у девушки лежат под глазами большие тени, впитавшие всю угольную пыль шахтёрского посёлка. Волосы девушки растрепались и забавно щекотали его лицо. В глаза почему-то бросились два замазанных прыщика: на носу и на правой щеке. Шёлковая ладонь девушки гладила его по волосам, как гладила иногда мама. Девушка участливо спросила:

— Ну как? Полегчало? Я не думала, что ты такой впечатлительный! — и засмеялась хрустальным смехом, точно зазвенела стеклянная люстра с висюльками, раскачанная сильным сквозняком.

— Это спазмы от духоты, у меня бывает, вегето-сосудистая дистония, — буркнул он, придавленный её телом, напрягаясь стальной струной от неспостижимости происходящего.

Всё произошло так быстро и так просто. Прежде чем он успел подумать, что перед ним доселе незнакомая и жизненно необходимая задача, руки девушки беспечно и непринуждённо скользнули по нему, словно играя гамму на клавишах рояля, пробежали по его рёбрам и порхнули вниз, беря аккорд.

Он позволил своему телу соскользнуть с её тела и, устало вытянувшись рядом с ней, подумал, что он отдыхает после многомесячного бегства от себя и матери. Потом они целовались, гладили и ощупывали друг друга. Присасывался к её податливой коже, пившейся, как сметана. Губы девушки ночной бабочкой тыкались и плутали по его телу, руки и ноги обвивались удавом вокруг него, змеиный язычок исследовал пещеру его рта, переползая через валуны зубов. Это была длительная и восхитительная своей новизной пантомима ласк.

Вдруг Гриша вспомнил, что не позднее десяти должен быть дома, испуганно вскочил, как после ночного сна, разбуженный трезвоном будильника, не понимая, где он и что с ним, и

начал, шурясь, озираясь вокруг и растерянно шарить руками по полу в поисках очков. Нашупав очки, водрузил их на нос и стал судорожно подбирать разбросанную одежду. Мария стояла рядом, смотрела участливо, комкая рукой ворот наброшенного махрового халатика. В дверях на прощание поцеловала его в щёчку, не в губы, — как будто провожала его каждый день и как это делала ежедневно мама.

Он вышел в набухший мартовской влагой ночной город, блаженно улыбаясь и жадно затягивая в лёгкие вкусный весенний воздух, — тут же ступил в огромную лужу, растёкшуюся у подъезда и подёрнутую тонким хрустнувшим под ногой ледком, чувствуя, как студёная вода пропитывает его старенький разношенный ботинок, и подумал, что жизнь всё-таки удивительная штука, если в один миг всё меняет, будто виртуоз-иллюзионист. Прыгая по лужам и разбрасывая во все стороны хрустальные брызги, летел по улице на вырастающих за спиной крыльях, не замечая коченеющих ног и торопясь успеть вовремя домой, радуясь той невесомости и беззаботности отношений, в которые он вступил, как в тёплую летнюю воду.

### 43

Однако скоро ему стало ясно, что та тёплая летняя вода ушла в грунт обыденности и стала похожа на глину, которая налипала на ботинки — и они становились с каждым шагом всё тяжелее.

Они теперь встречались с Машей два-три раза в неделю у неё на съёмной квартире. И скоро он понял, что не мыслит своей жизни без неё. Он воспринимал её теперь не как чужую девушку, подарившую ему радость физической любви, но и как девушку, к которой он может прийти и попытаться рассказать прожитый день. Это было для него открытием, что незнакомый ему человек, совсем не того типа, что вызывал в нём сбивающееся дыхание, становится вдруг родным, грелкой, сливной трубой, подкармливающим раствором, заменившим пресную водопроводную воду. И всё же он продолжал относиться к ней с настороженностью, будто часть души так и осталась онемелой, как отлётанная

рука, вроде бы и на месте, а не ощущаешь. Уж как-то у них всё скоропалительно и странно произошло, хотя он был ей очень благодарен не только за то, что она вывела его из невинности, но и за то, что смогла развеять тёмный морок последних месяцев, застилающий солнечный свет, словно дым от горящих торфяников.

Меньше всего он был способен простить ей то, что многое из того, что он ей рассказывал, она почти никогда не слушала или выслушивала как-то мимоходом. Начинала намётывать очередные джинсы, прокладывая иглой аккуратные ровные белые стежки, похожие на отпечатки следов на мокром песке, и Гриша всегда удивлялся тому, что у такой непредсказуемой женщины могут быть такие ровные стежки. Или начинала подпиливать и полировать свои ногти, частенько обкусанные, как у ребёнка, с тёмной каёмкой под ними, как он потом понял, после работы в выходные у мамы в деревне. Или начинала что-нибудь готовить: например, садилась в кресло, ставила на пол кастрюльку и резала туда привезённые из деревни яблоки, чтобы сварить варенье. Ещё больше его злило то, что, как только он замолкал, она тут же начинала щебетать о чём-нибудь другом: о дне рождения тётки в деревне, о подруге, у которой нашли гепатит, о замшевой сумочке, что она присмотрела в магазине. И всё же теперь он постоянно думал об этой девушке... Словно он поднимался по берегу реки вверх по течению, уходил вроде бы далеко, а потом ступал в тёплую воду, ослабившись, отдавался ей, пытаясь продолжать двигаться вверх, делая сильные, размеренные движения уже без сбивающегося дыхания, но со смирением видел, что плывёт он задом вниз по реке: он мог только замедлить своё движение вниз, но всё равно рано или поздно его неминуемо выносило течением в то место, откуда он начал свой путь. Девушка стала истоком пути.

Он сидит, склонившись над письменным столом, и готовится к экзаменам, мысли всё время виляют, как велосипед, наскочивший на кочку, и снова, и снова возвращаются к девушке, которую он не решается назвать любимой, но которая прочно поселилась в его жизни и исчезновение которой просто страшно и невозможно теперь представить...

Куда девалась та пора, когда он брёл по щико-

лотку в луже из-под натаявшего снега и чувствовал себя, будто за штурвалом ледокола, бороздящего Ледовитый океан? Лыдины расступались перед ним, громоздясь друг на дружку и открывая под собой беспросветную глубину. Теперь за его спиной стояла женщина в чёрных очках, клоунских штанах и огненном парике с именем «Ревность». Приходила она всегда внезапно, вкрадчиво обнимала за плечи, поворачивала к себе лицом и пристально смотрела в его глаза, рождая смутное беспокойство. Он вспоминал первое бесстыдное Машино прикосновение, которым она в их первую встречу так сказочно возбудила его — и думал о том, что для неё этот жест был обыденный и привычный. Это было нестерпимо. Ревность забиралась в него, будто крыса в спартанской казни, потихоньку выгрызая всё внутри. Он представлял, как Мария, кокетливо улыбаясь, ловко и бережно опоясывает бёдра мужчин сантиметровой лентой, чтобы снять с них мерку, — и скрипел зубами, чтобы не застонать. Это было непереносимо.

Однажды, когда она отказалась от встречи с ним, сославшись на срочные заказы, он целую неделю каждый вечер приходил к ней во двор, садился на лавочку в глубине двора, скрытую под тополями, обложенными пухом, с которой был виден её подъезд, и сидел там, наблюдая за качанием двери — будто открывал и закрывал книгу, пробежав очередной абзац или страницу. Строчки были серы, написаны посредственностью, сюжет не захватывал, но чувство, сродни тому, что было у школьника, который получил от учителя список книг, которые он должен прочесть за лето и отразить их содержание в дневнике, не позволяло ему встать и уйти, пока он не дожидался, как Машу проглотит подъезд. Что он хотел увидеть? Одна ли она пройдёт? Не поднимется ли кто к ней позднее? Но как бы он смог тогда отфильтровать её посетителя от соседа по лестничной клетке? Само сидение часами на отсыревшей от частых дождей лавке в ожидании непонятно чего было как весенняя аллергия на майское безудержное цветение и тополиный пух, катавшийся по серому асфальту, словно слепые персидские котятка...

Он стал плохо спать. Когда умерла Васечка, а за ней и отец, он спал. Спал тяжёлым забытьём, как больной с высокой температурой, когда вся

реальность кажется мелкой и несущественной. Он тогда постоянно выныривал из своего беспмятства, в котором не было места снам, оглядывал в растерянности свою комнату — и тут же вспоминал, что они с мамой теперь одни. Ему хотелось тотчас пойти к маме в комнату, обнять её, чувствуя, как её руки прижимают его голову к своей груди и гладят его спутанные со сна волосы. Но он никогда не делал этого, так как просто боялся спугнуть её недолгий сон, понимая, что, скорее всего, у неё бывает бессонница, которую он прочитывал по утрам по её покрасневшим глазам и сбившейся пыльной паутине морщин, лежащей под веками, точно на поверхности застывшего, отливающего синевой мелкого озера. Теперь он тоже перестал спать. Ворочался с боку на бок, взбивал, будто тесто, подушку, но она тут же опадала под тяжестью его головы, словно резиновая с дыркой в боку, и становилась твёрдой, как матрас. Лёгкое одеяло давило и душило его. Тело казалось угловатым, и собственные кости вдавливались под тяжестью тела в мясо, причиняя неудобство, кожа зудела... Перед глазами теперь стояла Мария, а не Васечка и папа, но если он всё же наконец под утро засыпал, сны теперь хищным коршуном прилетали и парили над ним, будто высматривая добычу. Ему теперь снились и Васечка, и папа, но почему-то почти никогда живые, хотя иногда они оживали: прямо на глазах у него вставали из гроба. Этот сон повторялся не раз и не два, и почти каждый раз он просыпался весь мокрый, будто в гриппозном жару, и думал, что их больше нет — и подушка становилась влажной, и он засовывал её угол в рот, чтобы не услышала мама. А однажды приснилась Васечка, будто она вместо Маши, и так ему с ней хорошо было, и никакой настороженности, полное доверие, как две половинки одного яблока... Проснувшись, он испугался тогда ещё больше, чем когда папа и Васечка из гробов вставали и разговаривали с ним. Но и этот его сон повторился, и повторялся ещё и ещё. И если в первый раз он показался ему чудовищным и испугал его, то потом он находил его приятным и даже ждал его и думал, что хорошо бы опять это сновидение повторилось. И он снова, как в детстве, летал во сне, теперь уже вместе с Васечкой. Сестра держала его крепко за руку — так, как когда ей доверяли забрать его из

детского сада, и они летели над парком, который был весь в цвету, будто снегом осыпан, над рекой, над лугом в голубых, словно её глаза, незабудках... И сладко пахло жасмином... Утром он чувствовал необыкновенную лёгкость, точно он и вправду оторвался от земли, каждый его суставчик пружинил и он начинал вместо физзарядки репетировать перед зеркалом показанный Машей танец.

## 44

Девушка совершенно ей не понравилась. Когда она представляла, что ей придётся её регулярно видеть, она чувствовала необъяснимое отвращение, как у беременной на некоторые продукты.

— Имей в виду, — сказала она сыну, — в этой среде чрезвычайно легко заводят всякие интрижки, в том числе и с клиентами.

Лидия Андреевна смотрела на лицо сына и видела, как розовая краска заливает его лицо, мочки его ушей стали как ошпаренные. Лидия Андреевна отметила, что сыну стало не по себе и он обожжён едкой ревностью, словно прошёлся голым по зарослям крапивы. Лицо его стало по-детски растерянным, будто он собирался с плачем кинуться к ней и спрятаться в мягких складках её байкового халата от надвигающейся опасности. Перед ней снова стоял не чужой самостоятельный человек, а её любимое дитя, готовое броситься к ней за утешением.

— И я вообще не понимаю, о чём вы разговариваете? Неужели тебе не скучно с ней? Она пряма, будто обструганная палка.

На другой день она сказала сыну, что раз у него сейчас каникулы и он взрослый мужчина, заведший девушку, работающую не только на основной работе, но и подрабатывающую, то он должен ей соответствовать и быть под стать, не век же у матери на шее сидеть, свесив ноги.

Полагаться на материальную помощь сына было смешно и нелепо, но, как ни странно, у Гриши неожиданно появилось убеждение, что мужчина должен уметь заготавливать дрова для домашнего очага, чтобы было чем топить хоть иногда. Чувство это было вызвано скорее всего ощущением вины за свою свалившуюся,

как съехавший с крыши мартовский снег, любовь и блуждающую улыбку лунатика на лице. К тому же ему нужны были теперь хотя бы карманные деньги, которые он мог бы тратить на свою любимую без каких-либо угрызений совести, не дающих ему спокойно спать, точно капающий в эмалированную раковину кран. На семейном совете было решено: пусть он попробует, как делали очень многие его конкурники, быть распространителем, или дистрибьютором, как они сейчас теперь все себя называли, но Лидия Андреевна без саркастической усмешки сама это слово произносить не могла.

Так её неожиданно повзрослевший сын начал бегать по киоскам и предлагать на реализацию чай. Киосков стало много. Они росли, как грибы на влажном и тёплом грунте, через каждые несколько метров, так что особой необходимости в автомобиле не было. За лето он заработал существенную добавку к семейному бюджету, позволившую ему даже купить новые ботинки и куртку к началу учебного года. После занятий подрабатывать было тяжело, он очень уставал, осунулся и похудел. Он часто теперь не успевал делать домашние задания к практическим занятиям и приходил на них, чувствуя себя гостем, случайно забредшим в спальню к хозяевам. Домой он теперь возвращался почти каждый день после десяти вечера — и тотчас сваливался и засыпал мёртвым сном, лишь наскоро умывшись и даже не перекусив. Лидия Андреевна несколько раз заставляла его лежащим поперёк кровати в уличной одежде. Присел, чтобы облачиться в домашнее одеяние, — и провалился. Он стал раздражителен по мелочам и вспыхивал будто стружка, к которой поднесли спичку или направили сфокусированный поток солнечного света... Правда, его взвинченный тон касался лишь Лидии Андреевны и немногочисленных его товарищей, с Машей же он по-прежнему заливался по телефону соловьём. Лидия Андреевна еле сдерживалась, чтобы не ворваться к нему в комнату и не прекратить его птичьей трель какой-нибудь просьбой. Однажды она всё-таки не выдержала, заглянула в комнату к сыну и изрекла: «Хватит! Кончай трепаться, мне надо позвонить!» Сквозь стёкла роговых



очков сына сверкнули две молнии, и он заорал: «Закрой дверь!» Аккуратно, будто боясь ушибить, положил трубку на стол, брошенным камнем подлетел к Лидии Андреевне и буквально вытолкнул её из комнаты, взяв за сторбленные плечи.

Спустя два месяца работы сына дистрибьютором Лидия Андреевна увидела объявление в газете «Из рук в руки» о том, что требуется столяр в магазин канцтоваров.

Так Гриша перешёл на новую работу. Лидия Андреевна была очень довольна. Теперь её сын мог спокойно учиться и работать одновременно. Не надо было бегать по улицам. Дежурство было через двое суток на третьи. Две ночи он находился дома, на третью дежурил охранником.

Лидии Андреевне сначала было трудно привыкнуть к ночной тишине в квартире. Мешали тени, прячущиеся по углам комнаты. Если времени было ещё до двенадцати, она подходила к телефону, набирала номер Гришиного магазина и, услышав родной голос, с облегчением вздыхала и засыпала рваным на лоскутки сном. Сны стали появляться иногда и цветные, но в них ясно присутствовало это ощущение нереальности, содержание снов доносилось до сознания как бы сурдопереводом. Женщина энергично жестикулировала всеми пальцами, и пальцы порхали, как бабочки с цветка на цветок, ни на одном не задерживаясь ни на минуту. Потом Лидия Андреевна внезапно проснулась, увидела в проём окна мутный холодный рассвет, постепенно проявляющий очертания соседних домов, редкие огни в которых, похожие на глаза собаки Баскервильей, множились и постепенно тускнели. Лидия Андреевна нехотя вылезала из-под сбившегося от её ночных метаний одеяла, шаркала в ванную, еле ступая и чувствуя непонятную разламывающую ступни боль, умывалась, пытаясь смыть стоящие перед глазами картины, и спешила позвонить сыну. Иногда она даже будила его своим звонком, но ему всё равно надо было уже вставать. Услышав его недовольный сонный голос, шла на работу.

И всё же теперь он, почти не таясь, мог разговаривать с Машей. Теперь она изредка бывала у него дома. Видеться они старались, пока Лидия Андреевна была на работе. Всё было бы прекрасно, если бы Гриша не нервничал. Он даже открывал дверь в коридор, объяснив, что не закрывает её специально, чтобы мама не подумала чего-нибудь плохого о них. Хотя Лидия Андреевна и была у себя на работе, она как будто всё время находилась около них: вливалась шаровой молнией и зависала в уголке около шкафа. Не она за ними наблюдала — они за ней следили со всё усиливающимся страхом за её перемещениями огненной медузой. До кого дотронется и кого спалит? Им казалось, что она слышит их, и говорили они всегда приглушёнными голосами, будто боялись её разбудить. Когда Гриша обнимал Марию, она казалась ему холодной, словно ящерица, пригревшаяся на солнцепёке. Раз — и выскользнула, а он сжимает в кулаке только её безжизненный хвост. Вместо всех радостей райского сада они растерянно и натужно болтали, с трудом находя тему, блеснувшую, как янтарный камушек среди обкатанной гальки, но тут же теряли её из вида, переключив на минуту свой взгляд на серую входную дверь, за которой им слышался ропот волнующегося моря. Они непрестанно следили за движением часовой стрелки, перескакивающей с одного деления циферблата на другой, будто Гришины пальцы с позвонков его любимой. Примерно за полтора часа до возвращения мамы Гриша начинал нервничать, не зная, как выпроводить девушку, чтобы не выглядеть смешным. Его тревога становилась всё сильнее, он чувствовал себя школьником, гасящим недокуренную сигарету и прячущим её в карман при виде завуча на задворках школьного двора, почуявшим запах прожжённой подкладки.

Так и в тот раз он вскочил и судорожно начал одеваться, запутавшись в вывернутых рукавах рубашки. Рванул молнию на джинсах, с тоской поняв, что она съехала с рельсов... Маша будто решила поиграть с ним и сладко потягивалась на тахте, выгибаясь, как кошка сфинкс. Закинув ногу с ноготками, похожими на облетевшие лепестки жасмина, смотрела с насмешкой на Гри-

шу. Гриша чувствовал себя пассажиром в самолёте, бегущем по взлётной полосе и неожиданно накренившимся набок: смешались и чувство радости, что миновала неизбежная беда при посадке в чужом городе, и досада, что прилёта не будет.

— Пора, красавица, пора, — заканючил он, — она уже через полчаса может вернуться, если в магазин не зайдёт.

— Ну и что? — ответила Маша, но всё же разомлевшей от сна кисой рывком поднялась и стала, как в замедленном кинофильме, собирать разбросанную по комнате одежду, любуясь на своё отражение в огромном зеркале шифоньера.

Исчезла за пятнадцать минут до прихода мамы, оставив Грише невыветрившийся цветочный запах духов, уводящий за собой по тропинке через рощу воспоминаний в лето; взъерошенные чувства и саднящую, словно разбитая коленка, досаду на то, что не умел бегать. Однако на другой день Гриша уже скучал по Маше и злился, что не может жить в своём доме не как квартирант у матушки.

Он не был в неё влюблён, но по-своему к ней привязался и совершенно не представлял, как он будет жить, если вдруг Мария исчезнет из его жизни. Взглядом, не замутнённым влюблённостью, он отмечал недостатки девушки: неинтеллигентна, не хочет дальше учиться, чересчур раскованна, имеет плохой вкус, любит всякие вечеринки... Все её изыяны собирались в памяти, накручивались, будто грязь к колесу телеги, колесо проворачивалось вся тяжелее и тяжелее, таща на себе всё больше балласта. Он словно раздвоился: с одной стороны, его цепкий взгляд магнитом притягивал всё, что так или иначе шло вразрез с его представлением об идеале его подруги — нет, он не выискивал специально в ней недостатков, они сами, точно брошенная на пол одежда, лезли на глаза; а с другой, боялся, что она растает, как леденец во рту, оставив его сжимать в кулаке деревянную палочку воспоминаний о первой любви, подбросившей его до небес в небо, словно качели.

#### 46

**К**ак странно устроена жизнь! То, что казалось нам раньше поражением, оборачивается победой; то, что выглядело бедой, вдруг

пугает мыслью, что этого в нашей жизни могло и не произойти; и, наоборот, то, что чудилось подарком судьбы, рассыпается в пришедшую в свой срок осень, как песочный замок, старательно сложенный под июльским солнцем.

Двадцать лет назад, когда Лида поняла, что снова беременна, она почувствовала глухую тоску, что наваливается у равнодушного осеннего моря, катающегося по песку, будто каток, утюжащий асфальт, когда схлынул поток курортников. Ей казалось, что вот-вот она проснётся и поймёт, что у неё месячные. Вместо радости и взволнованного ожидания, сопровождавших её с первых дней её первой беременности, тут было тупое сосание под ложечкой и страх повисшей в лифте между этажей, когда в подъезде пропал свет. И ещё ощущение ужасной усталости. Она шаркала по квартире в стоптанных тапках, будто старушка, не в силах поднимать налившиеся свинцовой тяжестью ноги, хотя округление живота незаметно было ещё даже ей. Её всё раздражало: теснота спальни; разбросанные носки и книги мужа; его спортивные штаны, повисшие пузырями на коленках; его храп с присвистом; поучающий тон свекрови и её вязанная в шеварушках кофточка с дырами на локтях, на которые были наклеены аккуратные заплатки, её долгие разговоры по телефону; то, что свёкор постоянно теряет свои очки и всех поднимает в доме на их поиски; то, что посуда в кухонном столе напихана так, что из него постоянно вылетают кастрюли и их крышки; то, что книжный шкаф осел под тяжестью книг и его дверца еле закрывается; то, что Василиса опять сидит с видом мученицы за завтраком, размазывая манную кашу по тарелке. Она боялась признаться себе, что просто не хочет этого ребёнка, эгоистично не хочет, чувствуя, что он постепенно будет забирать, как росток у картошки, то, что составляло её сущность и целостность. Она всё ждала, что Андрей как-то отреагирует на её беременность: обрадуется, будет носить ей цветы и апельсины, прислушиваться по ночам к биению маленького сердца, как было при её первой беременности. Или, наоборот, скажет, что они ещё не встали на ноги и надо бы им обождать: у них есть ещё для этого время. Но он смотрел мимо неё и сквозь неё, словно она была сама пустота.

Возможно, что его тоже мучили колебания и сомнения и его отстранённый вид был всего лишь декорацией, за которой скрывались боязнь ответственности и страх принять решение. Паника, похожая на ту, что охватывает тебя в толпе, которая вдруг срывается с места и непонятно зачем куда-то устремляется, затягивая, будто воронка в своё жерло; страх перед чем-то неизвестным, чего ожидаешь и боишься не потому, что оно плохое, а потому, что не знаешь, что тебя ждёт. Она тогда так и не приняла никакого решения. Ей так хотелось, чтобы это решение приняли за неё. Даже мама тогда почему-то отстранилась и ничего ей не могла посоветовать. Сказала, чтобы решали сами, чтобы потом не винили её ни в чём. Так и качалась, как маятник в старинных часах, до того времени, когда назад пути не стало. Казалось, будто ее вдруг вырвали из чего-то тёплого и приятного, где ей было хорошо и уютно, окутывающего, будто подоткнутое со всех сторон ватное одеяло, из-под которого вытащили, чтобы вернуть назад, на место, которое она уже слабо помнит, но где ей было холодно и неприятно. Так бывает, когда выходишь из нагретого человеческим дыханием тёмного кинозала после глубокого фильма, — и твоя расслабленность и задумчивость слепо натываются на стену косо дождя, капли которого пронизывающий ветер бросает в твоё разгорячённое лицо.

Лидия Андреевна не любит вспоминать тот год, когда родился Гриша и она окончательно перестала принадлежать самой себе. Она снова была шестерёнкой в отлаженном механизме, что бесперебойно крутился, с каждым кругом приближая её к концу, за которым темнота угольной шахты и больше ничего. Она опять жила, будто в чёрно-белом сне, на минуты проваливаясь в цветное забытье, из которого её неожиданно вырывал требовательный плач ребёнка. Андрей больше не помогал ей и не вставал по ночам, как было, когда родилась их дочь. Он стелил теперь свою постель в гостиной на диване, объясняя это тем, что не может работать невыспавшимся и с головной болью, сверлящей электродрелью затылок. По выходным он теперь тоже частенько уходил на службу, объясняя это тем, что нынче он должен содержать четверых. Если же оставался дома, то дол-

го спал, вставал и шёл в гараж либо уезжал на дачу даже в такую погоду, в какую они раньше не ездили никогда, мотивируя это тем, что там много накопилось дел, которые трудно будет завершить, когда туда привезут двоих детей.

Она не заметила, когда в её жизнь вернулся свет. Будто это был какой-то плавный переход, как туман медленно рассеивался. Но теперь это был ровный, спокойный свет восходящего солнца, свет оранжевого абажура над кухонным столом.

Теперь она просто не представляла, что её мальчика могло бы не быть. В ней проснулась такая нежность к этому почмокивающему существу, что казалось, что сердце разорвётся от переполнявшей его любви, как тонкое стекло сосуда, в котором начал оттаивать лёд.

По мере того, как сын рос и всё меньше требовал от неё неусыпного внимания, всё больше становились её любовь и нежность. Когда он обвивал своими пухлыми ручками её шею, прижимаясь к её груди, она вдыхала молочный запах его кожи, будто наркоманка кокаин, теперь точно зная, что смысл её жизни — это крепко держать детей за руки, сжимая в кулаке тепло их ладоней, точно сокровище.

Позже пришёл страх, что дети вырастут — и она станет им совсем ненужной и чужой, они смогут вполне обходиться без неё. Впервые эта мысль возникла, когда дети уехали со свекровью на два месяца на дачу. Сначала она почувствовала радостное предвкушение выходных, что частенько посещало её в молодости, когда она не была ещё шестерёнкой отлаженного механизма семейной жизни и могла себе позволить замереть и пронестись до полудня в постели, зная, что торопиться некуда: вся жизнь впереди, а до понедельника ещё целых два дня безмятежной свободы семечка одуванчика, парящего на ветру на своём парашюте. Но уже через три дня она места себе не находила и не могла дожидаться выходных, чтобы рвануть на дачу. Её больно укололо то, что дети были вполне счастливы и без неё и встретили её так, будто они совсем не расставались, обрадовались лишь привезённым им игрушкам. Она, точно потерявший руку, чувствовала её живую плоть, но видела в зеркале лишь отражение безвольно свисающего тряпкой рукава. Однако в воскресенье она уже не знала, как уехать, чтобы

не оставить детей в слезах. Сын крепко обнимал её за ногу, не давая шагнуть. Дочь стояла в дверях, смотрела на них — и глаза её наполнялись влагой, словно васильки при выпадении вечерней росы от охлаждающегося воздуха.

## 47

Старость пришла как-то незаметно. Вернее, Лидия Андреевна чувствовала себя ещё молодой, несмотря на все события, что придавили грузом могильной плиты к земле. Старость таилась где-то в прибрежной осоке лягушкой, сливающейся с прошлогодней листвой, — и вдруг прыгнула. Не подкралась, а именно прыгнула, плюхнулась на голое тело, подставленное солнечным лучам, мокрой жабой, но сама испугалась, отскочила, попав на разгорячённую кожу... Оставила ощущение брезгливости, неясного страха и мыслей о неизбежном. Лидия Андреевна совсем не чувствует себя старой, невзирая на все свои потери, пригибающие к земле, будто внезапно выпавший снег ещё зелёные листья. В юности она не чувствовала себя молодой. Теперь не ощущает старой. Ей всё ещё кажется, что жизнь впереди, хотя впереди её не ждёт ничего, кроме тоскливого переползания изо дня в день, что походят друг на друга, словно серая холодная галька. Сама она всё больше напоминает ту лягушку — с кожей, покрытой коричневыми пятнами ржавчины и бородавчатыми наростами, с отвисшим зобом и выпученными под толстыми линзами очков глазами, не ждущей уже своего царевича. Всё необратимо.

Это было странно, но она казалась себе ещё молодой и совсем не ощущала возраста. Почему всё так устроено: все уже знают, а ты ещё не догадываешься? Самозащита? Сжигаешь прошлогоднюю листву, но новая молодая трава, упрямая, похожая на нацеленное в небо копьё, не растёт. Возраст упрямо напоминает о себе выросшими детьми, утратой возможности реализоваться, появляющимися, словно грибы после осенних дождей, болячками. Будто вытягивала она из барабана лотерейные билетки, раскручивала один за другим... И вот чувствует, что барабан почти пуст, рука ощущает его гладкие пластмассовые стенки, совсем не холодные, но какие-

то неживые... Потом нащупывает в барабане несколько билетиков — и боится раскрыть... уже зная наверняка, что счастливого среди них всё равно не найдёшь... Лохотрон... Возраст сам по себе образует некую защитную скорлупу, эмоциональные реакции слабеют. Она уже почти и не страдает от одиночества, но чувствует, что оно медленно окутывает её, как туман, подбираясь сначала к ногам, что уже не бегут навстречу новой любви и неизведанному, потом размывает очертания предметов и вещей — и ты перестаёшь видеть на расстоянии вытянутой руки...

Всю неделю Лидия Андреевна ходила на работу с давлением, чувствуя, что её шатает и она будто скользит по накатанному льду. В ушах противно пищали комары и жужжали шершни, солнце застилало туманом, похожим на дым от большого пожара, в который набилась мошкара. Тошнота подкатывала к горлу, вызывая у Лидии Андреевны единственное желание — растянуться на кровати и провалиться в сон. Лидии Андреевне было так плохо, что она отпросилась у начальства и поехала домой. Открыла входную дверь — и увидела женские туфли на гвоздиках и бирюзовую курточку на вешалке. Сунув ноги в стоптанные тапки, прошаркала мимо комнаты сына, дверь в которую была плотно закрыта, — и услышала стоны, происхождение которых её просто потрясло. На подгибающихся ногах проковыляла к своей комнате и рухнула на кровать, не разбирая её и не раздеваясь... Комната крутилась, точно она скакала на лошадке по кругу на карусели. Она крепко вцеплялась в металлическую гриву, ледяную и без того окоченевшие пальцы, и думала, лишь бы не упасть. Стоны, перешедшие в душераздирающие крики, играли её головой, будто боксёрской грушей. Она металась по подушке, чувствуя, что внутри неё поднимается удушливой волной ярость, налетевшая как смерч чёрным облаком, приближавшимся стремительно и неотвратимо, грозя поднять дом над землёй, сначала снеся с него крышу. Холодные капли, словно слёзы, катились по вискам, вся она была будто куча выжатого белья, что небрежно бросили в таз в душевой ванной, наполненной горячим паром. Она хотела встать и войти в комнату сына, своим криком прекратив звериные игры, но ноги сделались поролоновыми, сохраняю-



щими свою белизну и форму, но совсем не способными перенести её в другую комнату.

– Прекратите! – закричала она. – Вы теперь меня доконать решили?

За стеной внезапно наступила тишина, закладывающая уши, как при морской качке. Стоны от выстрела её голоса будто сорвались в бездонную пропасть. И теперь равнодушное море каталось по песку, словно кошка, налившаяся валерьянки. Сквозь рокот моря в ушах она слышала, как разгруженным танкером стукнула входная дверь, – и дальше она осталась одна наедине с бескрайностью ртутно поблёскивающего моря её снов.

Накатившей волной море накрыло её с головой – и она поплыла среди коралловых рифов, среди которых то там, то здесь, как из лабиринта, возникали призрачные русалки, бьющие её исподтишка по щекам мокрым хвостом с жёсткими прутьями плавников...

Наутро ей полегчало, и она снова ушла на работу. Однако ей не работалось совсем. В мутной голове, затуманенной ревностью, всё висел женский крик, крик распятой женщины, которую острыми клювами щипали птицы. Василисино лицо и лицо Андрея скрылись, отступили в ночь, где злобно горели слабые огни, похожие на волчьи глаза, стерегущие крик чужой женщины.

Она не помнит совсем, что она несла, помнит только, что была разбита любимая чашка Андрея и сын покорно подметал разлетевшиеся по комнате осколки... Это потом она обнаружит на его руке синяк и будет украдкой изучать это чернильное пятно, выцветающее в желтизну по краям, и думать: Маша это или она? Она ведь, как ни странно, хорошо помнит нежность складки кожи, закручиваемой ею, словно крышка на пузырьке с корвалолом.

## 48

**Т**о лето было на редкость щедрым. Не было дней с изнуряющей жарой, солнце светило ровно и ежедневно. Ей даже казалось, что это и не солнце вовсе, а какая-то люминесцентная лампа дневного света. Гриша ехать в деревню с ней не захотел. Устроился в пионерский лагерь вожатым.

Сотовые телефоны ещё только появлялись и простым смертным были недоступны. Поэтому она оказалась на целый месяц как бы в глухой изоляции. Свет здесь включали ровно по расписанию и выключали тоже по расписанию. Сначала она думала, что соседи, которых она знала с детства, будут приходить к ней. Но как-то так незаметно оказалось, что вся её улица вымерла, почти все дома занимали чужие дачники, скрывавшие свои вновь построенные коттеджи за высокими заборами.

Лидия Андреевна принялась рьяно выхаживать сад. Сражалась с деревьями, наступающими со стороны леса. Клёны можно было косить косой, как траву... Тряся красным монистом и серьгами в тон ему, наступала на сад рябина; подползал орешник, маня ещё зелёными орешками, выглядывающими из папуасских юбочек; шла, выпрямив гордо стройный стан, берёза. Лидия Андреевна знала, конечно, что сможет заставить Гришу помочь ей в саду, но ей надо было просто бежать от воспоминаний и самой себя. Взяв тупую пилу, она со слезами перепиливала ствол дерева, стирая корой, как тёркой, кожу рук. На ещё не загубевших ладонях уже образовались белые набухшие пузыри. А на правой руке даже просвечивала сквозь отслоившийся мешок кожи кровавая жидкость в нём. Но Лидия Андреевна будто и не чувствовала... Она не допиливала дерево до конца и, как бы повисая на нём, обламывала своим весом. Потом полдня перетаскивала сломленные деревья, заслонявшие свет, на то место, где когда-то высился забор. После в изнеможении лежала на постели, смотрела на жёлтое пятно от дождей на потолке и думала, что молодость миновала как-то в один день. Всё была молодая, и всё у неё было впереди... А теперь раз – и старуха. Как быстро проходит жизнь... Ещё вчера здесь было полно народу и даже ходили по двору маленькие нахохлившиеся цыплятки. Жила в хлеву Чернушка, что бродила летом где-то по лугам со стадом... А сейчас нет ни родных, ни Чернушки и даже на лугах никто не пасётся.

Лидия Андреевна с тоской смотрела на покосившуюся избушку, что стояла почти на курьих ножках. Отец когда-то поставил её на высокие столбы вместо фундамента. Денег на целый полный фундамент тогда не было, а

чтобы дом не гнил, он был водружён на высокие столбы так, чтобы под полом гулял ветер. Ступеньки крыльца и половицы совсем прогнили. Ходить по нему было нельзя, и Лидия Андреевна с унынием сожалела, что она не плотник. Кого бы нанять?

Хорошо, что не было дождей. Крыша текла — и на полу веранды выросла белая седая поросль, напоминающая заиндевевший мох. Обои отклеивались по углам, заворачиваясь, будто лепестки отцветающих цветов, раскиданных по полю. Все обои были в жёлтых пивных потёках от просачивающейся влаги. Тут и там зияли чёрные дыры с неровными краями, прогрызенные мышами. Потолок тоже когда-то был оклеен обоями, но обои давно пожелтели и были два десятка лет тому назад просто побелены. Теперь эта побелка постепенно осыпалась. Мел лежал, будто лёгкие первые снежинки на старом стуле, на пустом столе, на обшарпанном полу... Снежинки спускались с потолка на нитках паутины, точно гирлянды лёгкой мишуры под Новый год.

Мыши совсем обнаглели. Они ходили по комнате, совсем не обращая внимания на Лидию Андреевну. Они просто вылезали из своих норок и шастали по комнате, чувствуя себя как дома. Шуршали, с хрустом отгрызали очередной кусок обоев, не только нагло подбирали просыпанные крошки, но и норовили залезть в запечатанные продукты. Одна даже умудрилась утонуть в банке с красной смородиной, которую Лидия Андреевна протёрла с песком на зиму. Сдвинула баночку из-под консервов, которой Лидия Андреевна покрыла трёхлитровую банку с ягодами, прогрызла толстенную бумагу, закрывающую горло банки, и, видимо, сорвалась в посудину и захлебнулась сладким сиропом.

Однажды, придя с реки, Лидия Андреевна нашла на столе маленькую мышку, почти мышонка. Стол был круглым и стоял посреди гостиной. Лидии Андреевне казалось, что туда мышкам не добраться. И она оставляла на нём продукты: печенье, конфеты, крупы. Увидев хозяйку дома, мышь заметалась по круглому столу. Она хотела спрыгнуть, да побоялась высоты, на которую нечаянно забралась в погоне за лёгкой наживой... Мышка опасливо поглядела за край стола, свесив головку с маленькими чёрными бегающими глазками-бусинами. И, не решив-

шись прыгнуть, начала бегать по краю стола, испуганно и судорожно круг за кругом: один круг, второй, третий... Лидия Андреевна стояла в нерешительности, не зная, что предпринять. Прибить или поймать её она боялась. Муж бы поймал. Она помнит, что он не раз ловил их прямо руками и, завернув в лопушок, уносил далеко за калитку, не решаясь убить. Мышь как загнанная носилась по кругу, хотя её никто никуда не гнал: Лидия Андреевна застыла в оцепенении. Было что-то символическое в этом бесполезном беге по краю, когда надо крепко зажмуриться и спрыгнуть за край. И в этом будет твоё спасение. Но глупая мышь бежала по кромке стола круг за кругом, не осмеливаясь на прыжок. Лидия Андреевна подошла вплотную к столу — и тут мышь прыгнула и в мгновение скрылась в своей чёрной дыре под плинтусом, махнув сереньким голым хвостом, напоминающим измочаленную верёвочку. Лидия Андреевна подумала, что она сама, как эта мышь, всё бежит, как загнанная, по краю, в погоне за концом пути, и не решается спрыгнуть, бежит, боковым зрением угадывая на мгновение стремительно надвигающуюся опасность...

## 49

В тот вечер она, как обычно, позвонила Грише, он сообщил, что делает лабораторную работу по химии. После чего она легла спать. Ночь была у неё удивительно спокойная. Она как провалилась. Ей снилось, будто она маленькая девочка. Рядом бабушка и мама. Они сидят за большим круглым столом. Бабушка печёт пироги с капустой, кажется, на столе стоит большой самовар, растопленный душистыми смолистыми шишками, напоминающими о скором Рождестве. Над столом горит большой светильник, накрытый сверху, будто корзиной какой-то, плетённым из лозы плафоном... Бабушка наливает ей полную чашку холодного молока, вытаскивает из печки румяную плюшку... Такой покой разливается в комнате, такой же мягкий и обволакивающий, как этот свет, сочащийся сквозь ивовые прутья. Маленькая Лидочка почему-то уверена, что у неё в жизни всё сложится хоро-

шо. Она тоже научится печь большие и вкусные пироги с румяной корочкой и будет кормить ими своих деток.

Обычно она просыпалась, если в последние месяцы ей виделись её близкие. Просыпалась и понимала, что это нереальность. Тут такого не было. Сон как сон... Словно была под ублаживающим наркозом... Так ей впервые за много месяцев было уютно в своём сне... Родные были снова живые...

Лидия Андреевна встала с чувством, что она выпалась, жизнь продолжается, хоть совсем не радостная и светлая, как ей мечталось в том сне... Но всё равно надо жить. В конце концов, есть же и совсем одинокие люди. А у неё всё-таки сын, значит, есть будущее, появятся внуки... Люди правильно говорят, что время лечит, не лечит, конечно, а так... зарубцовывает раны. Остаются корявые шрамы, похожие на высушенные растения. Но болит только, если трогать и надавить, а так среди дневной круговерти уже забываешь про это уплотнение...

Умывшись и одевшись, она стала звонить, как всегда, Грише. Телефон не отвечал. Дрыхнет, что ли?

Скоро придут продавцы, пора и просыпаться, в университет бы не опоздал... Паршивец! Она набрала номер ещё раз, но в трубке раздавались лишь длинные гудки... Звучали, как будто кто-то сигналил на дороге, торопясь проехать, но впереди поперёк встал большой крытый грузовик, который развернуло на накатанном льду после оттепели, заслонив собой всю дорогу...

«Может, линия связи повреждена или телефон отключили за неуплату?» — подумала Лидия Андреевна и ушла на работу.

Сидела, смотрела в документ — и ничего не видела. Ей всё время казалось, что хриплой птицей кричит встревоженный телефон. Она даже несколько раз подходила к нему и снимала трубку. В трубке равнодушно плескалось холодное зимнее море. Сердце свернулось комком, как сворачивается в холодной воде капля расплавленного воска.

Примерно через два часа ей позвонил директор магазина, где работал Гриша, и сказал:

— Лидия Андреевна! Здравствуйте... — голос перешёл почти на шёпот от перехваченного

дыханья. — Сядьте, пожалуйста. Я должен вам сказать, что случилось несчастье. Гриша впустил ночью каких-то людей. Сторож соседнего магазина это видел. Эти бандиты обокрали магазин. Гриша погиб. Сейчас он находится в морге при судебной экспертизе. Тело можно будет забрать не раньше чем завтра. Все расходы по организации похорон фирма берёт на себя, но нам нужен паспорт Гриши. Мы сейчас к вам приедем.

Дальше Лидия Андреевна ничего не помнит. Очнувшись, она увидела над собой лица двух перепуганных коллег, склонившихся над ней. В руках одной из коллег был пузырьёк корвалола, в руках другой нашатырь... Почувствовала почему-то, что мёрзнет шея: горловина её ворота была растерзана. Возвращаясь из тумана, она смотрела на эти лица, с трудом понимая, где она и что с ней. Энергично трянула головой, пытаясь отогнать дурной тяжёлый сон, в который она внезапно провалилась, потом до неё стало доходить, что это не сон... Или, наоборот, сон продолжался... Она во сне что-то говорила ребятам, приехавшим с Гришиной работы.

Ребята всю организацию дальнейшего брали на себя, но договорились, что она покажет им место на кладбище, где похоронен Андрей. Они не очень-то и понимали, что произошло. Вроде бы у Гриши были какие-то друзья, которых он пустил поздно вечером в магазин в гости. Они, вероятно, постучались и попросили их впустить. Они даже пили чай с Гришей. Не водку, не пиво, не кока-колу, а чай... Дальше магазин был ограблен. На теле убитого обнаружили четырнадцать ножевых ран и с десяток кровоподтёков от ударов тяжёлыми предметами.

## 50

**В**есна в этом году запаздывала. Глубокий, по горло, снег лежал необозримыми сугробами, кое-где из которых торчали кресты, будто гигантские якоря. Найти могилу было почти невозможно, но она каким-то десятым чутьём вдруг поняла: это там, где чернеет чёрной якорной привязью верхушка невысокого креста. Будто она сама и была этой привязью, соединяющей прошлую жизнь и будущее, которое

было теперь туманно, беспросветно, бесповоротно... Она попыталась дойти до этой чёрной металлической вязи и, сделав лишь шаг, ухнула в колючий снег. По пояс. Попыталась выбраться — и не смогла. Опереться было не на что. Все опоры оказались утрачены. Она попыталась помочь себе руками, но руки мгновенно ухнули по локоть в обжигающий сугроб, и она почувствовала шершавый наждак снега, заползающий к ней в рукав, сковывающий все её движения, засасывающий, словно гиблое гнилое болото, ноги в тоненьких колготках: вот уже и сапоги того гляди пойдут ко дну... Только кочек тут не было. Были могилы. Холмики могил, но они были далеко, будто подводные рифы... Она сквозь толщу снега как будто видела все эти холмики... Она с трудом вытащила ногу и сделала ещё шаг вперёд — и снова ухнула в пропасть. Она не помнит, как добралась до чёрной якорной привязи, торчащей из снежных торосов, но почему-то помнит ледяной холод, ободравший все её колени и до боли замораживающий ледяной сыростью кончики немеющих пальцев ног. Деревянной рукой Лидия Андреевна соскребла, как растопыренной веткой, налипший на металлическую табличку снег и с облегчением вздохнула: «Здесь!» Теперь надо было выбираться назад. Она оглянулась — и ужаснулась: как только добралась сюда? И непонятно, как сможет отсюда вылезти? Ау! Кричи не кричи... Никто не услышит... Ей снова стало страшно... Торопливо, но стараясь попасть ногой в образовавшиеся чёрные воронки, она начала свой обратный путь к окраине кладбища, где зеленела комендантская будка.

...Вечером она лежала в постели, завернувшись в колючий клетчатый плед, положив рядом расхристанную телефонную книгу и поставив расколотый телефонный аппарат, перевязанный чёрной траурной изоляцией, на стул около кровати, и методично обзванивала всех своих знакомых, один за другим выуживая их номера из каждой буквы алфавита записной книжки, не в силах понять, что же с ней произошло...

Были выходные, и вскрыть её мальчика могли только завтра к вечеру.

Гроб заколотили на окраине кладбища, так как машина к могиле проехать не могла. Чистить снег для катафалка никто не собирался. Снег был в этот год очень глубокий. К могиле Андрея была расчищена узкая тропинка, буквально вырублена в снегу, как в горной породе. Прощаться подходили по одному... Пока Лидия Андреевна стояла у могилы, поддерживать её могли только сзади.

До квартиры её проводила подруга с работы — и тотчас убежала за внуком в детский сад.

Если бы она могла верить! Если бы она верила, ей было бы легче. Только теперь она поняла всю мудрость христианской религии. Человек не прощается с любимыми навсегда, он просто расстаётся, до скорой встречи в новом мире, пропитанным солнцем и музыкой. Человек знает, что его любимым сейчас там лучше, чем здесь. А свою боль можно пережить и перетерпеть, так как встреча там, за облаками... И, наверное, она уже не так далеко... Лидия Андреевна знала, что ничегошеньки, кроме этой жизни, у неё не будет. Думать о будущем не хочется. Ей кажется, что оно похоже на развезённое осеннее поле, из которого выкопали картошку. Дожди идут и идут, вода хлопает носом среди оставшихся от комбайна борозд. Дует сырой пронизывающий ветер. Деревья уже все голые и лысые, скалятся гнилыми зубами, с веток слезла кора — и они напоминают человеческие кости... Смирись: это Бог послал тебе испытание, а Бог не даёт испытаний не по силам... Это не ты виноват — всё было предначертано свыше, а значит, ничего нельзя изменить и переиначить — и стало быть, нечего бить себя кнутом по спине и расчёсывать затягивающиеся мокнувшей корочкой раны. Ничего не изменишь. Твоим близким там хорошо. Это тебе плохо без них. Но Бог оставил тебя здесь. Значит, ты должен завершить все их и свои дела тут. Ещё немного прожить здесь одному, чувствуя себя пылинкой, нет, даже не пылинкой, пушинкой от одуванчика, у которой отломилось семечко, и она уже никогда не пустит зелёные побеги, упрямо раздвигающие ещё не засохшие после бурного таяния снегов комки земли, по которым бегут нитки чужих корней, похожих на ка-



пиляры, — и ты снова увидишь своих родных и близких... Потерпи немного ещё. Ещё помучайся... А тот, кто остаётся на земле, обязательно ещё встретится со своими любимыми и близкими, ещё услышит наяву их постоянно мерещащийся нетающий голос, будто указывающий путь среди ухабов и рытвин: «Ты меня слышишь? Не оступись!» Ещё окажется в их нежных объятиях, надёжно заслоняющих стеной из пуленепробиваемого стекла от разгулявшихся ознобных ветров, завывающих волком на сторожевой цепи в тёмном переулке, в котором притулился твой скособоченный домишко. Ещё немного прожить здесь одному — и ты снова увидишь их, своих близких, смотрящих на тебя пока будто сквозь запотевающее стекло, принесённое с замороженной улицы...

Как быстро проходит жизнь... Ещё вчера ты была девочкой с жиденьким конским хвостом из обесечённых волос, туго перевязанных чёрной аптечной резинкой... И вот уже стоишь почти одна, на пороге одиночества, старости и болезни... Всё. Лотерейная шапка пуста. Все билеты прочитаны и раскручены. Жизнь пожевала, пожевала и выплюнула. В тоску и старость.

Тоска теперь подступала внезапно. Но она не то чтобы наступала, она просто где-то тихо затаивалась в тёмном чулане души, пока Лидия Андреевна была на работе и машинально выполняла свои многочисленные обязанности... Тоска жила всё время. Лидия Андреевна вздрагивала посреди рабочего дня от того, что вдруг возвращалась к событиям последних месяцев... Она глотала горстями транквилизаторы и всяческие таблетки, укрепляющие иммунитет, повышающие сосредоточенность и умственные способности. Она старалась больше не плакать, так как просто начала бояться за своё физическое состояние: если она слетит с этого жизненного круга белки в колесе, то ей просто даже позвать будет некого или, не дай бог, придётся когда-нибудь оперироваться... Она чутко вздрагивала от всех телефонных звонков в квартире, как собака, услышавшая на лестнице шаги хозяев, что были в длительном отъезде. Телефон теперь звонил редко, но ей всё время казалось, что это звонят Василиса, Гриша или Андрей. Тоска наступала, как только она перешагивала порог своей просторной квартиры.

Слёзы подкатывали под горло, поднимались выше и начинали капать, как вода из прогнившей крыши в грозовой дождь. Облегчения они не приносили, наоборот. Она чувствовала отупляющее изнеможение, начинала задыхаться от мучительного кашля, который выворачивал её всю наизнанку, выкручивал бронхи, вызывая рвотный рефлекс и кислый вкус во рту от забродившей пищи. Она всё время прокручивала события последних месяцев, будто любительский кинофильм какой-то, тщетно пытаясь понять, как всё это произошло.

Ей всё время хотелось открутить непостижимые события назад. Она почему-то больше не помнила тех отвратительных сцен ругани, которые преследовали её всю жизнь... Теперь все её родные как бы приблизились к ней и совсем не уходили всё дальше, как ей обещали её сердобольные друзья.

Она спала хорошо, просто изматывалась физически настолько, что словно проваливалась в какое-то рваное чёрное небытие, разорванное на траурные ленты. Её родные не снились ей. Она даже сама удивлялась, как такое может быть, но они не снились. Зато она частенько просыпалась посреди ночи с мыслью, что теперь она одна, больше у неё никого нет, жизнь состоялась, и не очень удачно, ничего нельзя уже изменить и переиначить. Груда искорёженного железа лежит под серой насыпью откоса, и никто даже не пытается поднять его от туда. Всё, что осталось от людей, заразительно смеющихся, надрывно кричащих, вечно куда-то бегущих и никогда не добегающих, увезли. Люди наконец добежали, но совсем куда-то не туда, куда стремились всю свою недолгую и не очень-то счастливую жизнь. Сплющенное железо равнодушно поблёскивает на солнце, а выбитые осколки стёкол, валяющиеся на выжженной траве, пускают солнечные зайчики... Она трясла головой, прогоняя от себя этот нелепый слепящий свет, обжигающий до слёз, и в который раз начинала с ужасом и оцепенением прокручивать события последних двух лет, явственно ощущая их тошнотворную нереальность. Потом снова так же неожиданно для себя самой опять ухала в глубокий колодец своего сна даже без чёрно-белых сновидений — и вновь так же неожиданно её выносило всплыв-

шим трупом на поверхность, где в лицо бил белый равнодушный свет кафельной плитки больничной палаты. И снова была мысль, что она потеряла всех... Как так получилось? И не она ли сама была виновата в этом?

Она с удивлением (и с неожиданной радостью) вдруг обнаружила, что юбки начали свободно крутиться вокруг её талии, всё время пытаясь переехать боковым швом вперёд.

На работе она частенько замирала над старательно вычитываемой документацией, понимая, что читают лишь близорукие глаза её, а сама она давно улетела куда-то вдаль, где влажнеют свеженасыпанные холмики глинистой земли и скрюченные судорогой пальцы сжимают в горсти тяжёлый земляной комок с засохшей в нём травинкой прошлогодней травы. Она медленно возвращала взгляд в начало страницы, но, прочитав две строчки, неожиданно счастливо убежала туда, где сидели они вчетвером за круглым столом на кухне, под апельсиновым с длинной шёлковой бахромой абажуром, отбрасывающим мохнатую тень на белую ажурную клеёнку, и пили чай с только что испечённой ею, светло пахнущей ванилью и антоновкой шарлоткой.

Лидия Андреевна с удивлением поняла, что больше у неё никого нет. Ей казалось раньше, что друзья понятие незыблемое, если они настоящие. Но молчал даже телефон. Лучшая подруга, уехавшая в другой город, в коротеньком письме обещала позвонить и выражала своё сочувствие. Полгода спустя Лидия Андреевна получила от неё повторное послание. В нём подруга извиняющимся голосом оправдывалась, что она, по-видимому, неправильно записала Лидины телефоны.

Всплывшие на поверхность воспоминания подогнали веслом к лодке, пока никто из близких этого не увидел, нагнулись над водой и даже подержали в ладонях, чувствуя их тяжесть и немного боясь, что они выскользнут. Пугаясь не того, что ускользнут, а именно выскользнут — и придётся снова подгонять их к лодке тяжёлым веслом, вытащив его из ключин и грозя потерять равновесие в ветреную осеннюю погоду. А подгонять их было нужно, чтобы быстро привязать камушек потяжелее и пустить плыть обратно. Она словно тянула и тянула из озера подсознания свои

воспоминания и не могла вытащить до конца, будто тяжёлые сверкающие сети, набитые живой запутавшейся в них рыбой...

Она всё время ловила себя на мысли, что собирается прийти домой и рассказать о том, что у неё опять произошло на работе, кто и что сказал и что она об этом думает. Она, конечно, тут же спохватывалась, что рассказать теперь свой день совсем некому, никто её не услышит и не поймёт... Но на другой день это её желание «всё рассказать» выныривало снова.

Она почти перестала готовить. Только раз в неделю, в воскресенье. Варила себе гречку или рис на всю неделю, брала кашу на работу, дома же вечерами не ела теперь, а, придя с работы, просто ложилась на диван, вытянув и положив на маленькую подушечку отёкшие за день ноги с сизыми ручейками вздувшихся вен. Она лежала и тупо смотрела в потолок. Иногда ей казалось, что все её последние годы — какой-то дурной сон. Стоит только потрянуть головой — и проснёшься, увидишь на соседней кровати Андрея, с присвистом похрапывающего так, что хотелось с силой пнуть его ногой. Иногда Лидия Андреевна даже проваливалась в рваный сон, но вскоре всплывала из небытия в его прореху, будто оказывалась на поверхности проруби. Появление на поверхности всегда сопровождалось одной и той же мыслью, что это — не сон. Состояние это было как застоявшаяся в озере вода в безветренную погоду. Вода и не прибывала, и не уходила в грунт: подводные ключи постоянно пополняли уходящую в почву воду.

И снова, и снова Лидия Андреевна тянула из тёмного озера свои воспоминания, чувствуя, что ветхая сеть опять зацепилась за корягу, разорвалась и она что-то не сможет уже вытащить на незамутнённую поверхность никогда.

Лидия Андреевна вспоминает, что она загадывала под Новый год в своей молодости. Тогда на самом доньшке колодца под толщей ледяной воды утонувшим серебряным колечком лежала надежда на чудо... Колечко окислилось и покрылось тёмным налётом, но она тогда знала, что сможет его всегда отчистить зубным порошком. Главное, как-то достать со дна! Позднее ожидание и надежда на чудо, любовь, счастье рассеялись как морок и утренний туман... Потом растаяло, словно едкий дымок от

хлопушки, взорвавшейся разноцветным конфетти, и само желание волшебства. Вместо этого она теперь произносила скороговоркой про себя пожелание себе самой, чтобы ничего плохого в её жизни не произошло, чтобы никто не умер, чтобы всё было хорошо, спокойно и безмятежно, как под ватным одеялом после шумной новогодней ночи, когда знаешь, что впереди несколько дней блаженной свободы от расписанной по минутам жизни, безмятежно стекающей на дно песочных часов. Желания растаяли, как пряничный домик или карамельный петушок. Осталась одна обглоданная мокрая палочка, крепко зажата в руке. Она будто пыталась отсрочить неизбежное мгновение своими беззвучными молитвами...

Потом она вообще перестала загадывать подобные желания. Это случилось после того, как умерли родители, после того, как она потеряла всех, кого положено терять по суровым законам природы.

Когда же она неожиданно и страшно стала терять своих самых близких и родных людей, она почему-то подумала, хотя это и было, конечно, глупо, что всё происходит от того, что она перестала загадывать то своё девичье желание: «Чтобы все были живы...» Есть что-то мистическое в нашей вере в чудеса: перестал верить — и всё пошло наперекосяк.

Лидия Андреевна обнаружила, что теперь сутулится под рюкзаком прожитых лет, что за последние годы оказался так туго набит, что она совсем не могла его сбросить с плеч... Так, видно, и тащить до старости... Не выпрямиться уже никогда. Холод вечной мерзлоты потихонечку проникал в неё. Сначала она начинала мёрзнуть от кончиков пальцев рук и ног, затем холод постепенно поднимался по сосудам ближе к сердцу. Она мёрзла уже при обычной комнатной температуре. Почему-то вспомнила Сенеку из виденного когда-то по телевизору спектакля: «Старость — вечерами надеваю две туники и всё равно мёрзну».

Теперь она закутывалась дома в верблюжье одеяло и так и сидела, завёрнутая в него, как кролик под гипнозом удава, пляясь в телик, где опять стреляли в худенького мальчишку, встрёпанного, будто намокший под дождём воробей...

Голоса близких не уходили. Они целый день звучали у неё в ушах. Иногда она вздрагивала — и оборачивалась. Ей казалось, что за спиной у неё стоят её родные, отбрасывая изломанные тени на стены, и ждут её ответа. Она постоянно слышала их приказания: не делай этого! И отступала в растерянности, так и не совершив задуманного поступка. Это было как наваждение. Голоса звучали в ушах, будто музыка, она даже перестала слышать за этой музыкой окружающих. Медленно, словно выплывала из тумана сна, возвращалась в окружающую действительность... Близкие тут же исчезали, таяли, как дыхание, оставленное тёплыми губами на ледяном стекле. Но проходил час-другой — и снова Лидия Андреевна ловила себя на мысли, что она опять спрашивает у них совета. Когда звонил телефон, она вздрагивала, тормозя свой рывок к надрывающемуся аппарату, напоминающий прыжок с вышки (как в морскую бездну летишь, задержав на мгновение дыхание, набрав полные лёгкие воздуха и зажмурив глаза). Ей всё время казалось, что это дети ей звонят или Андрей... В шумной толпе ей хотелось крикнуть: «Да не галдите же вы так, вы же не даёте услышать моих родных, я почти не различаю их голосов за вашим гвалтом, но хорошо знаю, что они звучат громко и чётко, будто голос диктора, вещающий новости. Я спрашиваю у них совета, и они отвечают мне, и если раньше я могла поспорить и сделать что-то наперекор их советам, то сейчас я этого сделать не могу, просто не имею права. Руки деревенеют на холодном ветру, узелок не развязывается заочневшими пальцами в подагрических буграх, похожих на обломанные сухие сучья. Мои близкие были бы рады, зная, что теперь я живу по их подсказкам...»

Тяжелее всего давались ночи. Днём она иногда совсем забывала о произошедшем. К вечеру же тени в тишине оживали по углам... Снова и снова продолжала она свой неоконченный разговор с ними. Голоса звучали так явственно, что хотелось себя ущипнуть. Возможно, она проваливалась в кратковременный сон, а потом внезапно возвращалась в пустую холодную комнату, с трудом понимая, что близких нет. Только что были с ней — и вдруг растаяли, как мираж в пустыне... Она натягивала до подбородка скинутое одеяло, иногда даже надевала

его капюшоном на голову, крепко зажмурилась, пытаясь вернуть видения, но нет... Сон прошёл, и мысли печальным караваном журавлей выстраивались в осеннем небе, низко и давящем, грозящем обрушить потолок.

«С любимыми не расставайтесь и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг» — всё время крутилась эта строчка. Почему не почувствовало её материнское сердце беду? Почему всё казалось несерьёзным, как сон, который можно с себя стряхнуть, встав под холодный душ, зябко ёжась от ледяной лейки, напоминающей струи грозового ливня, неожиданно заставшего тебя на развилке трёх дорог. Куда ни пойдешь — вымокнешь до нитки и тяжёлый озноб, уже побежавший по позвоночнику к ногам, будет мелко раскачивать твоё тело, будто молоточек будильника, что никто не сорвётся успокоить, погладив по макушке.

Слёзы высохли, вернее, влились внутрь, образовав в душе своеобразный грот, и неподвижно стояли в своём безветренном укрытии, тяжёлые, как ртуть, и медленно отравляющие своими парами. Больше не плакалось. Она научилась жить со своей болью, как привыкают жить с раковой неоперабельной опухолью, радуясь каждому сумеречному рассвету, обволакивающему боль наркозом утреннего тумана. Жизнь за окном продолжалась, но она знала, что это уже не для неё солнце, вспыхивающее на каплях чистой росы, похожей на детские слёзы, что через час пропадут без следа.

Вот ты опять слышишь, что голос начинает звучать всё громче, дребезжать, как оконное стекло от прошедшего по улице трамвая, и, слушая этот всё накаляющийся голос, внезапно отступаешь, боясь обжечься жарким дыханием, и думаешь: а ради чего и зачем поднимаем давление своим близким? Надтреснутый голос пытается взять ноту всё выше и выше, уже неуклюже карабкается по обледеневшим горам... И вот уже трещинка с надломившегося голоса бежит по сердцу... И ничего нельзя изменить, и лицо белое, будто снег заоблачных вершин и вечной мерзлоты...

Жизнь для каждого теряет смысл по-разному, но результат — утрата этого смысла — одинаков для всех. Раньше она любила уезжать из дома в командировки. Бежала от повседневной

рутины, надеясь стряхнуть с себя осевшую пыль. Скучала, конечно. Звонила каждый день, спрашивала: «Как дела?» Чем ближе было к концу командировки, тем сильнее скучала. Говорила со всеми по очереди, ждала целый день, что вот, наконец, она услышит голоса своих близких. К её приезду муж и дети всегда готовились: убрали квартиру, стряпали что-нибудь вкусное, Андрей даже цветы иногда покупал. Она же каждому обязательно привозила подарок. Потом всем семейством весело разбирали её чемодан, примеряя обновки. Самое хорошее, наверное, и было в этих командировках — вот это её возвращение, да ещё ожидание, когда тебя соединят по междугородному проводу — и ты услышишь голоса своих родных. За время её отсутствия и она сама, и её близкие забывали про все мелкие, наносные и изматывающие стычки, все обиды выцветали в памяти, как пятно, пролившееся из гелиевой ручки, что оказалось под лучами солнца.

Теперь звонить было некому. И, как это было ни странно, уезжать не хотелось, хоть и казалось, что должно бы быть наоборот. Нестись из своего дома, к людям, забыться хоть на неделю (хотя разве можно забыться?)... Но желание бежать почему-то исчезло. Всё время теперь тянуло закутаться в тёплое ватное одеяло, забыться с головой в свою нору и так и лежать наедине со своей болью, баюкая её, точно раскричавшегося младенца. Ей казалось, что другая жизнь, другие города и новые люди могут запросто заглушить голоса твоих родных. Они перестанут в ней звучать как музыка... Начальство на работе, напротив, хотело её постоянно «встряхнуть», проветрить... Уезжала она в командировку теперь с шемющим чувством утраты дома, в котором потеряла всех своих близких, но дом помнил каждой своей вещью движения их тел, впитал их тепло и наполнился их голосами. А теперь она будто оставляла своего старого товарища, с которым у неё были общие воспоминания. Слёзы набегали на её щёки, всё больше становящиеся похожими на картошку по весне... Гуляя по чужому городу и всматриваясь в лица прохожих, она постоянно думала о том, что вот они торопятся домой к своим родным и любимым, а она одна в этом чужом городе, и в своём — всё



равно одна. Она периодически ловила себя на мысли, что ей нестерпимо хочется позвонить домой и чтобы ей позвонили тоже. Но только накручивала на горло шарф поплотнее, ёжась от озноба, стекающего по спине струйками, как от проливного дождя. Приходила в гостиницу, бросала кипятильник в эмалированную кружку, всю в незаживающих оспинах отбитой эмали, и сидела, смотря на белоснежный потолок, где не было ни одной знакомой трещины и который напоминал ей заснеженное кладбище. И нестерпимо хотела домой, туда, где всё помнило о её близких. Её даже больше теперь тянуло домой, чем раньше. Прежде было предвкушение скорой встречи и сиюминутности этой её праздной командировки, где ей дали увольнительную на время от работы на конвейере чётко отлаженного механизма её дома... Теперь механизмом была она сама... Скрипящим и несмазанным. Раньше она могла позвонить и знать, что скоро будет встреча... Ныне у неё оставались только воспоминания. Воспоминания не уходили, бродили брошенными голодными кутятами по чужим дворам в поисках потерянных хозяев...

Она никак не могла справиться с силами и разобрать вещи своих близких. Всё так и лежало, как существовало при них. Так ей было легче. Создавалась иллюзия, что они просто куда-то ушли из дома: уехали ненадолго, вышли погулять и скоро вернуться. Она иногда осторожно входила в их комнаты днём, вытирала накопившуюся пыль и по-кошачьи мягко выскальзывала, поплотнее прикрыв за собой дверь. Вечером она почему-то к ним не заходила... Боялась нахлынувших воспоминаний, что подхватят чёрным потоком, сбегаящим с гор после урагана, унесут, затаянут в чёрную воронку? Но разве она уже не в воронке, из которой никогда не выбраться? Можно ещё побахтаться, но какой смысл выплывать? Тяжёлая рука на затылке, которая мигренью вдавливает твоё лицо в его отражение, сморщенное плачем и гримасой боли.

Лидия Андреевна вытаскивала из шифоньера вещи детей и Андрея, вдыхала их запах расширившимися ноздрями, будто наркоманка кофеин, зрачки её темнели, отражая падающие из окна солнечные лучи или жёлтый тёплый свет

от люстры, казавшийся ей теперь нестерпимо ярким и раздражающим сетчатку, будто лучи от ультрафиолетовой лампы. Примеряла по одной штучке две-три со сбивающимся с такта дыханием и, если они вдруг оказывались впору, выносила из комнаты, прижимая к груди, как новорожденного ребёнка. Потом в своей комнате бережно надевала перед зеркалом одну из них, а другую убирала в свой шкаф. По дому она теперь ходила в халатах Василисы, рубашках Андрея и в свитерах сына, спала в ночнушках дочери, в её же кофточках являлась на работу. Так ей казалось, что её близкие рядом с ней. Она теперь слышала не только их голоса — она вбирала в себя их запах, как собака со своим обострённым обонянием, бегущая по следу своих хозяев. Эти вещи вмещали в себя её тело, как когда-то её тело вмещало в себя их владельцев. Они опять были единым и неделимым. Иногда она натягивала ворот свитера или поднимала воротник халата себе на лицо и так сидела, вдыхая запахи близких и кусая ткань, зажимая плач, словно собака переносила с места на место своего новорожденного слепого кутёнка.

Она стала раздражительной на работе. Подолгу могла сидеть, уставившись в одну точку. Делать больше ничего не хотелось. Она стала замечать, что люди её сторонятся. Временами её захлёстывала волна раздражения и ярости, подхватывающая, будто смерч, всё на своём пути, отрывающая от земли, чтобы с силой грохнуть о камни. Слова летели из неё, точно из-под щётки снегоуборочной машины: резкие, колючие, смешанные с землёй.

Внезапно открывшимся фасеточным зрением она замечала, что люди переглядываются, улыбаются и пожимают плечами. Её стали раздражать громкие звонкие голоса, взахлёб рассказывающие о своей счастливой жизни; нервировало назойливое радио, передающее глупые песенки, которые казались ей фальшивыми; она теперь не могла вытерпеть, когда кто-то ей перечил.

Даже любые разговоры, звучащие на эмоциональном накале, вызывали в ней раздражение. Хотелось закрыть уши ладонями и нырнуть в глубину, уйти в свой подводный мир воспоминаний, где не было места резким и звонким звукам, как не было места под водой

яркому солнечному свету. Она обнаружила, что иногда она срывалась, будто катушка ниток со стола: катилась по полу, разматывая накрученную нить слов, свитую из претензий, обид, никчёмных и мелких требований. Странно так. Понимала всю суетность своего раздражения и всю погремущечность дрязг по сравнению с ценностью человеческой жизни, но остановиться не могла... Казалась себе насквозь промокшим ботинком, который выдох и его никак не натянешь на ногу.

Она часто чувствовала себя потом виноватой, когда на кого-то из сотрудников орала, но ничего не могла поделать с собой. Бешенство налетало, как гроза, внезапно — и лилось из прохудившихся небес, как из ведра, лущуя кусты, ломая ветки и вминая в землю ростки желаний.

Лидия Андреевна стала всё забывать, совсем не помнила не только куда и что положила, а и сделала ли это вообще. Постоянно теряла какие-то бумаги, словно в комнате поселился бабашка и уносил всё с собой. Однажды она сама заметила, что ходит по коридору шаркающей походкой: совсем нет сил поднимать ноги.

Временами её клонило в сон. Это могло произойти и дома, и на работе. Она просто роняла на свои руки чугунную голову, в которой бестолково, будто в пчелином рое, толклись воспоминания, — и хоть на несколько минут проваливалась в спасительное забытьё. Вот и нынче опять прикорнула на работе на несколько мгновений. Задремала — и тут же увидела младенца. Он лежал под её боком, уткнувшись в её сырую от слёз и молока рубашку, и чмокал. Лидия Андреевна подумала, что надо немедленно проснуться, а то она может задавить малыша. Она осторожно положила ребёнка к себе на грудь и дала сосок. Ребёнок сосал, а она гладила головку, покрытую пухом, похожим на пух одуванчика.

Работа больше не интересовала её. Казалось бы, сейчас это единственное, за что можно держаться, но мышцы пальцев непроизвольно расслаблялись и держать ничего не хотели. Она ходила на службу по инерции и потому, что не могла оставаться одна в опустевшей квартире целый день. Старость. Неужели дальше лишь старость? Ужасает сильнее всего невозможность выдумывать своё будущее.

Она обнаружила, что начальство её игнорирует. Её не ругали, но и больше не прислушивались к её мнению. Просто старались не пересекаться с ней. Её не сняли с должности, не отправили на пенсию ещё, но уже молодая энергичная её заместительница, женщина тридцати шести лет, командовала, даже не ставя её в известность о назревших проблемах и делах.

Однажды она хотела что-то ей посоветовать — и в ответ услышала:

— Заткнись!

Она даже не обиделась. Просто Лидия Андреевна как бы вышла из той возрастной категории, когда говорят: «Ты сломала мой куличик! А я сломаю твой!», совсем ещё не зная о том, что скоро и тот, и другой куличики рассыплются от осенних зачистивших дождей, насквозь промачивающих их и сравнивающих с грудой сырого холодного песка, и от того порывистого ветра, что отбрасывает недавно тесно прижатые друг к другу песчинки далеко друг от друга, смешивая их с миллионами таких же, похожих для близорукого глаза одна на вторую. Она слышала, что у этой сотрудницы недавно ушёл муж, и понимала, что она просто ей подвернулась под ногу, как ржавая консервная банка, которую захотелось пнуть и послушать, как та покатится по асфальту, оглушая округу пустым звоном.

Она перестала обращать на многие вещи внимание, хоть и говорят, что старость обидчива. Многие рабочие проблемы и кипевшие на службе страсти стали казаться ей до смешного кукольными, будто она взяла бинокль и перевернула его наоборот, чтобы посмотреть находящееся рядом: и увидела не детали, а всё целиком, как на ладони, размером со спичечную головку, но так чётко и резко, словно наблюдала из окошка иллюминатора.

Она отстранённо следила, словно за игрой двух пираний за стеклом океанария, как две уже не очень молодые сотрудницы, более десяти лет проработавшие бок о бок на одном заводе, остервенело делят освободившийся из-под прибора стол, готовые и пустить под откос годами складывающиеся хорошие отношения, и поставить под угрозу возможность дальнейшей нормальной работы просто пото-

му, что одна хочет работать комфортно, а другая понимает, что в таких стеснённых условиях, как работает её группа, долго они не продержатся: и люди побегут, и работа перестанет выполняться. Вот одна небольшая серебристая рыбка, только что лежавшая на дне на боку в обмороке, в который она со страху упала, сливаясь с илистым грунтом, неожиданно очнулась и поплыла. А вот она уже ловко в одно мгновение подгрызла плавник у своей сестрицы, опрометчиво слишком близко проплывшей около неё... А куда устремилась та, с потрёпанным плавником? Боком, будто хромя, головой вниз, но вперёд... Вот там на крючке мотается ещё живой сородич, жадно хватающий разорванными жабрами кислород и извивающийся, точно уж, от боли... Вот его сейчас быстренько и сожрём, оставив рыбаку растерзанные жабры да прозрачный скелетик, мотающийся на крючке, точно отброшенная тень.

Как-то она вышла во двор и увидела, что вход в их гараж зарос дачными клёнами. Они стояли, уже начав желтеть и бросать под метлу дворника свои листья, почему-то свёртывающиеся в трубочки, будто листы старой испанской бумаги. Теперь в гараж можно было попасть, только срубив эти клёны... Она вспомнила, как рубили эти клёны в деревне, как они, рухнув, неожиданно открыли такой необъятный простор... Как эти клёны проросли сквозь асфальт у гаража? Это было странно и необъяснимо, но они росли, тесно переплетаясь тугими ветвями, наглухо перекрыв вход в гараж, искривлённые, копирующие движение скособоченной яблони, когда-то выросшей под крылом их предков. И снова клёны роняли свои крылатые семена, которые несло ветром на проезжую часть под колёса проходящих машин и автобусов... Скольким из них суждено теперь будет притулиться в городе у такого же заброшенного гаража, хозяин которого больше не открывает его дверь? Единицам? Всё зарастает в этой жизни — и однажды видишь, что входа больше нет.

Она теперь твёрдо знала, что не работа — главное в жизни, а твои близкие, но почему-то требовала от подчинённых работы на износ, забывая, что у тех могут быть какие-то свои личные проблемы.

Иногда она слышала разговоры своих молодых сотрудниц о своих родителях и ужасалась даже не тому, что те говорят о них, а с какой желчью в голосе. Слушала о том, как родители изводят их и делают невыносимой их жизнь, которая тоже пройдёт очень-очень быстро. Она соглашалась про себя, что жизнь пролетит стремительно, и думала о том, что их дети будут вот так же источать недовольство, говоря о них самих. Неужели и её дети о ней так думали? Некоторые звери могут съесть своих детёнышей, например холоднокровные рыбы. У млекопитающих такое редко, но и они могут загрызть своих новорожденных детёнышей. Потом просыпается инстинкт материнства...

Иногда она думает, что, случись что-то с ней, никто о ней даже не вспомнит. Она так и умрёт. Будто мостик к внешнему миру разрушен. Поддерживающий его столб снесло течением — и мост рухнул, болтает теперь вдоль реки своё посеревшее тело, полощет его среди жёлтых кувшинок, выглядывающих на поверхность, словно головы змей. Её даже никто не хватится. Найдут по запаху несколько месяцев спустя. Разве что кот от голода орать будет.

В выходные стала перебирать фотографии родителей, детей, мужа. Смотрела на фотографию своей малышки и на мамину детскую и поразились тому, насколько это одно лицо. Один и тот же распахнутый взгляд, обращённый в небо. Время сравнивало всё. Запросто можно положить в альбом на место маминой фотографии портрет дочери и наоборот... Как всё-таки быстро проходит жизнь! И что с нами делает время, превращая жизнь улыбающейся малышки, бережно спелёнатой пуховым одеялом, в пыль... Вот тут она тоже в кровати, грызёт режущимся зубиком металлический поручень. Она уже стоит и пока ещё не упадёт куда. Натянутая сетка на кровати, похожая на рыболовную, надёжно охраняет её от падения. Тут она на руках у папы. Родные руки так крепко держат её, что она уж тут не упадёт точно, эти руки её не выпустят. Ей тепло и спокойно у него на груди. Головка прислонена к его плечу... Баю-баюшки баю, не ложись ты на краю... Это потом край окажется обрывом, за которым пропасть... А пока от пропасти она отделена рыболовной сеткой... Тут она девочка с бан-

том-пропеллером, танцующая в цветущем майском саду, а тут девочка постарше с тугими косицами и набитым книгами портфелем... А вот тут она в компании с будущим мужем и Фёдором. Они растягивают одеяло на серой траве, которая тогда была ярко-зелёной, и смеются, перетягивая одеяло каждый на себя... А тут оба молодых человека как по команде одеяло отпускают — и она летит пока ещё не в пропасть, а на мягкую, разомлевшую от сошедших снегов землю, волоча за собой съжившееся одеяло и растерянно улыбаясь. Ещё все живы и ещё не все родились, чтобы уйти в небытие. Она подумала, что, когда и она уйдёт туда, откуда никогда не возвращаются, эти пожелтевшие фотографии кто-нибудь ей мало знакомый соберёт в изжёванный полиэтиленовый пакет и вынесет на помойку... И маму, и папу, и брата, и Андрюшу, и Васю, и Гришу — маленьких и постарше, и совсем уже выросших — всё пыльный ворох пожелтевшего сора... Зачем человеку воспоминания из чужой жизни, в которой его не было? Мусор, старый хлам, засоряющий отремонтированную квартиру. С ней уйдут не только фотографии, но и её родители, её муж, её дети, которые, пока она жива, всё равно ещё живы, хотя и живут внутри неё. С ними можно разговаривать, и она очень часто слышит их советы и даже приказания. Умершие продолжают любить и жить в тех, кого они любили. А значит, она должна быть, чтобы продлить их жизнь хотя бы в себе...

Как-то раз она поймала себя на том, что очень осторожно ставит стулья на даче на втором этаже ночью, словно боится разбудить кого-то. Она всегда так осторожно их ставила: боялась двинуть ножкой стула. Теперь эта предосторожность не имела смысла: разбудить она могла только мышей...

## 52

**И** снова на земле люди провожали старый год. Праздновали шумно и весело. Громко кричали, радуясь приближению его конца, а значит, и отпущенная им жизнь становилась на год короче. Снова улицы были наряжены в разноцветные огни, расцветающие хризанте-

мами фейерверков, свисающие лианами с водружённых на площадях ёлок, перегораживающие небо над головой натянутыми гирляндами мигающих фонариков. На принаряженный город снисходительно смотрело раскрывшееся разрезанной дыней ликом луны, странным образом увеличенное какими-то ледяными потоками атмосферы, втянувшими в себя свет взорвавшихся петард и бенгальских свечей, высвечивающих на мгновения детали возбуждённых лиц, перед тем как кануть в небытие, оставить пустоту разорённого, небранного дома: сдвинутую со своих мест мебель и горы немытой посуды, сваленной в раковину и на столе; песок у порога, принесённый на сапогах с посыпанных им тротуаров, напоминающий о тщетности минут, сбегających тонкой, но неумолимой и неостановимой струйкой в песочных часах.

Лидия Андреевна тяжело шла по тротуару. За ночь намело с полметра снега — и его никто и не думал убирать. Ноги проваливались в рыхлые сугробы, под которыми скользкими кочками и буграми лежал нескотый лёд. Она с трудом выдирала ногу из снега, облитого красным заревом пожара, чувствуя, что кровь приливает к голове, сердце стучит как перегревшийся мотор и она начинает задыхаться. Она хотела зайти в магазин купить продуктов, но, завернув в супермаркет, увидела такие длинные очереди к кассам с тележками, перегруженными бутылками, колбасной нарезкой и тортами, что потеряла к своей затее всякий интерес. Вышла из душного магазина, переполненного возбуждёнными и раскрасневшимися людьми, и повернула к дому.

Взойдя с трудом по лестнице, останавливаясь через каждые несколько ступенек, вошла в квартиру, сбросила пальто на стул, стянула сапоги с отёкших бутылочных ног, прямо в носках (нагибаться за тапочками уже не было сил) прошаркала в комнату и легла, подложив под ноги подушку.

Так она лежала часа два, не в силах шевельнуть свинцовыми конечностями. Телефон умолк, казалось, навсегда, будто трубку заткнули кляпом. Она словно обитала в другом мире, в котором жили её близкие, которым не было уже места среди её знакомых. Воспоми-



нания снова крепко взяли за руки и окружили её, вода хорооводы. Вырваться было невозможно. Да она и не пыталась. И вся жизнь снова закружилась перед ней в каком-то нелепом и диком танце, где белая тяжёлая маска из гипса передавалась по кругу.

У неё снова всплыли в памяти те строчки из фильма Бергмана: «Но наступит последний день, когда придётся заглянуть в бездну... И в вашем мраке, и в том мраке, в котором мы все пребываем, вы не отыщите никого, кто выслушал бы ваши стенания и растрогался вашими страданиями. Утрите слезы и отражайтесь в своей пустоте». Она даже не сможет проиграть белому клоуну Смерти, выторговав у него чужую молодую жизнь и своё продолжение. Сейчас у неё мог бы быть внук или внучка. Уже бы родились. Она бы носила малышку на руках и прижимала к своей груди, задыхаясь от любви и нежности.

Где и когда она оступилась, идя по обледеневшему краю пропасти, и почему уцепилась за камень, на котором сидели её близкие, нарушив их шаткое равновесие?

Но сейчас бездна кажется ей лишь избавлением от груза, пригвоздившего её живую гранитной плитой к земле, из-под которой не выбраться никогда и так и жить раздавленной

до того дня, когда белый клоун возьмёт её за руку и поведёт за собой по снежному полю...

«Утрите слёзы и отражайтесь в своей пустоте». Одна... И больше никого в этом мире. И с этим надо жить. Слёзы бегут по стареющим щекам, становящимся похожими на сморщенные яблоки в коричневой паутине, хранящиеся с осени в холодильнике. Эта мысль её даже не преследует, она живёт с нею как с тенью, что лишь на недолгие минуты исчезает, словно на солнце набегает облако — и тень пропадает. Она просыпается ночью — а тень уже живёт с ней, машет чёрным крылом, словно летучая мышь над её лицом нависает. «Надень мне варежки». Руки леденеют — и она свёртывается комочком под одеялом, сжав пальцы в кулачки, пытаюсь согреть их друг о дружку. Пальцы медленно начинают отогреваться... Но это только пальцы. Не она.

□

### **Галина ТАЛАНОВА**

*(настоящее имя Бочкова Галина Борисовна)*

*родилась в г. Горьком.*

*Окончила Горьковский госуниверситет,  
кандидат технических наук.*

*Поэт, прозаик. Автор шести книг стихов:*

*«Годовые кольца» (1996); «Ожидание чуда» (2001);*

*«Подобие дома» (2006); «Жизнь щедра» (2007);*

*«Душа любви открыта» (2009);*

*«И за воздух хватаясь руками...» (2011).*

*Стихи публиковались в таких изданиях, как*

*«Литературная Россия», «Новая газета»,*

*«Роман-журнал. XXI век», «Юность»,*

*«Север», «Созвучье муз» (Германия), «Истоки» и других.*

*Член Союза писателей России.*

*Живёт в Нижнем Новгороде.*

